## Лирика

Автор: *Ахмадуллина Б.*

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии - вот радость!

И под утро так чиста

виноградовая сладость,

осенявшая уста.

Ни о чем я не жалею,

ничего я не хочу -

в золотом Свети-Цховели

ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхета

воздаю хвалу и честь.

Господи, пусть будет это

вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в новость

и колдуют надо мной

милой родины суровость,

нежность родины чужой.

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море паруса плутали,

и, непричастные жаре,

медлительно цвели платаны

и осыпались в ноябре.

И лавочка в старинном парке

бела вставала и нема,

и смутно виноградом пахли

грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,

который к морю выбегал

и выплывал, как черный лебедь,

и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,

бежала по камням к воде,

и каблучки по ним ломала,

и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,

вплетаясь утром в водопад,

и капли сохли, и мелели,

и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,

собравши все в одном цветке,

витало имя Ариадны

и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,

там приникал к воде причал.

"Цисана!" - из окошка звали.

"Натэла!" - голос отвечал...

x x x

Смеясь, ликуя и бунтуя,

в своей безвыходной тоске,

в Махинджаури, под Батуми,

она стояла на песке.

Она была такая гордая -

вообразив себя рекой,

она входила в море голая

и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,

так шла и шла наискосок.

Она расстегивала лифчик,

чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного

дразнил и душу бередил.

Там белое пошло по смуглому,

где раньше ситец проходил.

Она смеялася от радости,

в воде ладонями плеща,

и перекатывались радуги

от головы и до плеча.

АБХАЗСКИЕ ПОХОРОНЫ

Две девочки бросали георгины,

бросали бережливо, иногда,

и женщины устало говорили:

- Цветы сегодня дороги - беда...

И с жадным страхом улица глядела,

как девочки ступали впереди,

как в отблесках дешевого глазета

белым-белели руки на груди.

Несли венки, тяжелые, скупые,

старушек черных под руки влекли.

Да, все, что на приданое скопили,

все превратилось в белые венки.

На кладбище затеяли поминки,

все оживились, вздрогнули легко,

и лишь глаза у женщины поникли

и щеки провалились глубоко.

Но пили, пили стопкою и чашкой -

и горе отпустило, отлегло,

и на дороге долго пахло чачей,

и голоса звучали тяжело.

И веселились песни хоровые,

забывшие нарочно про беду...

Так девочку Геули хоронили.

Давно уже - не в нынешнем году -

x x x

- Все это надо перешить, -

сказал портной, - ведь дело к маю.

-Все это надо пережитьсказала я, - я понимаю.

И в кольцах камушки сменить,

и челку рыжую подрезать,

и в край другой себя сманить,

и вновь по Грузии поездить.

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.

На грех наводит, за собой маня.

моя работа мне не помогает

и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,

пишу стихи у краешка стола,

и все-таки меня снедает ревность,

когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто,

и у меня в тбилисском том духане,

в картинной галерее и в кино

завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу

печник на необжитом новом доме,

я тоже вытираю об траву

замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор -

послушно перенять его пример

и, пристально приникнув к аппаратам,

прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревце сажать,

из лейки лить на грядках неполитых

и линии натурщиц отражать,

размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной

меня жестоко требует к ответу.

Но не прошу я участи иной.

Благодарю скупую радость эту.

x x x

Ты говоришь - не надо плакать.

А может быть, и впрямь, и впрямь

не надо плакать - надо плавать

в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,

плывущую из-под руки,

чтоб даровать себе свободу

другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко

в Сибири, в чистой стороне,

где доверительно и слабо

растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры

того, что делалось со мной?

Мерцают в памяти предметы

и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,

где среди медленной воды

посверкивая ходит омуль

и перышки его видны.

И те дома, и те сараи,

заметные на берегах,

и цвета яркого саранки,

мгновенно сникшие в руках.

И в белую полоску чудо -

внезапные бурундуки,

так испытующе и чутко

в меня вперявшие зрачки.

Так завлекала и казнила

меня тех речек глубина.

Граненая вода Кизира

была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство

мое и все слова твои

напоминающей лекарство

целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,

что там, среди земли и ржи,

мне не пришлось сказать ни слова,

ни слова маленького лжи.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец празднество затеял

и щедро Днем поэзии нарек?

По той дороге, где мой след затерян,

стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.

И на себя их смелость не беру.

Ты для меня -торжественные будни.

Не пировать мне на твоем пиру.

А в публике - доверье и смущенье.

Как добрая душа ее проста.

Великого и малого смешенье

не различает эта доброта.

Пока дурачит слух ее невежда,

пока никто не видит в этом зла,

мне остается смутная надежда,

что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,

не зря, когда звучат их голоса,

у мальчиков и девочек сияют

восторгом и неведеньем глаза.

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смущаюсь и робею пред листом

бумаги чистой.

Так стоит паломник

у входа в храм.

Пред девичьим лицом

так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь

я озираю алчно и любовно,

чтобы потом пером ее терзать,

марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок

недолог. Перевернута страница.

Бумаге белой нанесен урон,

бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,

я безрассудно и навечно кану,

одна среди сияющих листов

неся свою ликующую кару.

СТАРИННЫЙ ПОРТРЕТ

Эта женщина минула,

в холст глубоко вошла.

А была она милая,

молодая была.

Прожила б она красивая,

вся задор и полнота,

если б проголодь крысиная

не сточила полотна.

Как металася по комнате,

как кручинилась по нем.

Ее пальцы письма комкали

и держали над огнем.

А когда входил уверенно,

громко спрашивал вина -

как заносчиво и ветрено

улыбалася она.

В зале с черными колоннами

маскерады затевал

и манжетами холодными

ее руки задевал.

Покорялись руки бедные,

обнимали сгоряча,

и взвивались пальцы белые

у цыгана скрипача.

Он опускался на колени,

смычком далеким обольщал

и тонкое лицо калеки

к высоким звездам обращал.

...А под утро в спальне темной

тихо свечку зажигал,

перстенек, мизинцем теплый,

он в ладони зажимал.

И смотрел, смотрел печально,

как, счастливая сполна,

безрассудно и прощально

эта женщина спала.

Надевала платье черное

и смотрела из дверей,

как к крыльцу подводят чопорных,

приозябших лошадей.

Поцелуем долгим, маетным

приникал к ее руке,

становился тихим, маленьким

колокольчик вдалеке.

О высокие клавиши

разбивалась рука.

Как над нею на кладбище

трава глубока.

МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,

как повезло нам в этот час,

когда бегущая пластинка

одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,

как уж, изъятый из камней,

но очертания Шопена

приобретала все слышней.

И тоненькая, как мензурка

внутри с водицей голубой,

стояла девочка-мазурка,

покачивая головой.

Как эта с бедными плечами,

по-польски личиком бела,

разведала мои печали

и на себя их приняла?

Она протягивала руки

и исчезала вдалеке,

сосредоточив эти звуки

в иглой расчерченном кружке.

ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы,

на дно их падает зола.

Там отдыхают великаны

после содеянного зла.

Все холоднее их владенья,

все тяжелее их плечам,

но те же грешные виденья

являются им по ночам.

Им снится город обреченный,

не знающий своей судьбы,

базальт, в колонны обращенный

и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки

цветы, что расцвели давно,

там знаки подают вакханки

мужчинам, тянущим вино.

Все разгораясь и глупея,

там пир идет, там речь груба.

О девочка моя, Помпея,

дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей

о чем ты думала, о ком,

когда так храбро о Везувий

ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,

расширила зрачки свои,

чтобы не вынести раскатов

безудержной его любви.

И он челом своим умнейшим

тогда же, на исходе дня,

припал к ногам твоим умершим

и закричал: "Прости меня!"

САДОВНИК

Я не скрипеть прошу калитку,

я долго около стою.

Я глажу тонкую калину

по загорелому стволу.

И, притаясь в листве веселой,

смеюсь тихонько в кулаки.

Вот он сидит, мой друг высокий,

и починяет башмаки.

Смешной, с иголкою и с дратвой,

еще не знает ничего,

а я кричу свирепо: "Здравствуй!" -

и налетаю на него.

А он смеется или плачет

и топчет грядки босиком,

и красный сеттер возле пляшет,

в меня нацелясь языком.

Забыв в одной руке ботинки,

чудак, садовник, педагог,

он в подпол лезет и бутылки

из темноты мне подает.

Он бегает, очки роняя,

и, на меня взглянув тайком,

он вытирает пыль с рояля

своим рассеянным платком.

Ах, неудачник мой, садовник!

Соседей добрых веселя,

о, сколько фруктов несъедобных

он поднял из тебя, земля!

Я эти фрукты ем покорно.

Они солены и крепки,

и слышно, как скребут по горлу

семян их острых коготки.

И верю я одна на свете,

что зацветут его сады,

что странно засияют с веток

их совершенные плоды.

Он говорит: - Ты представляешь -

быть может, через десять лет

ты вдруг письмо мне присылаешь,

а я пишу тебе в ответ...

Я представляю, и деревья

я вижу - глаз не оторву.

Размеренные ударенья

тяжелых яблок о траву...

Он машет вилкою с селедкой,

глазами голодно блестит,

и персик, твердый и соленый,

на крепких челюстях хрустит...

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки

надменной отдаленности своей.

Лунатики протягивают руки

и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознанья,

весомостью дневной утомлены,

летят они, прозрачные созданья,

прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупо,

взамен не обещая ничего,

влечет меня далекое искусство

и требует согласья моего.

Смогу ли побороть его мученья

и обаянье всех его примет

и вылепить из лунного свеченья

тяжелый осязаемый предмет?..

x x x

Человек в чисто поле выходит,

травку клевер зубами берет.

У него ничего не выходит.

Все выходит наоборот.

И в работе опять не выходит.

и в любви, как всегда, не везет.

Что же он в чисто поле выходит,

травку клевер зубами берет?

Для чего он лицо поднимает,

улыбается, в небо глядит?

Что он видит там, что понимает

и какая в нем дерзость гудит?

Человече, тесно ль тебе в поле?

Погоди, не спеши умереть.

Но опять он до звона, до боли

хочет в белое небо смотреть.

Есть на это разгадка простая.

Нас единой заботой свело.

Человечеству сроду пристало

делать дерзкое дело свое.

В нем согласье беды и таланта

и готовность опять и опять

эти древние муки Тантала

на большие плеча принимать.

В металлическом блеске конструкций,

в устремленном движенье винта

жажда вечная - неба коснуться,

эта тяжкая жажда видна.

Посреди именин, новоселий

нет удачи желанней, чем та

не уставшая от невезений,

воссиявшая правота.

x x x

Влечет меня старинный .слог.

Есть обаянье в древней речи.

Она бывает наших слов

и современнее и резче.

Вскричать: "Полцарства за коня!" -

какая вспыльчивость и щедрость)

Но снизойдет и на меня

последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,

навеки проиграв сраженье,

и вот придет на память мне

безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!

Дитя, наученное веком,

возьму коня, отдам коня

за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,

о конь мой, конь мой, конь ретивый.

Я безвозмездно повод твой

ослаблю - и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,

в степи пустой и порыжелой.

А мне наскучил тарарам

этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!

И на манер средневековый

ложится под ноги мои

лишь след, оставленный подковой.

БОГ

За то, что девочка Настасья

добро чужое стерегла,

босая бегала в ненастье

за водкою для старика, -

ей полагался бог красивый

в чертоге, солнцем залитом,

щеголеватый, справедливый,

в старинном платье золотом.

Но посреди хмельной икоты,

среди убожества всего

две почерневшие иконы

не походили на него.

За это - вдруг расцвел цикорий,

порозовели жемчуга,

и раздалось, как хор церковный,

простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,

поднес ей желтый медальон

и так вполне сошел за бога

в своем величье молодом.

И в сердце было свято-свято

от той гармошки гулевой,

от вин, от сладкогласья свата

и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,

платочек газовый снимал

и у соседнего амбара

ей плечи слабые сминал...

А Настя волос причесала,

взяла платок за два конца,

а Настя пела, причитала,

держала руки у лица.

"Ах, что со мной ты понаделал,

какой беды понатворил!

Зачем ты в прошлый понедельник

мне белый розан подарил?

Ах, верба, верба, моя верба,

не вянь ты, верба, погоди.

Куда девалась моя веостался крестик на груди".

А дождик солнышком сменялся,

и не случалось ничего,

и бог над девочкой смеялся,

и вовсе не было его.

x x x

Вот звук дождя как будто звук домбры, -

так тренькает, так ударяет в зданья.

Прохожему на площади Восстанья

я говорю: - О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: - Шали. -

К его курчавой головенке никну

и говорю: - Пусти скорее нитку,

освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,

мне белая встречается собака,

и взглядом понимающим собрата

собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,

по бледности я отличаю скрягу.

Облюбовав одеколона склянку,

томится он под вывеской "Тэжэ".

Я говорю: - О, отвлекись скорей

от жадности своей и от подагры,

приобрети богатые подарки

и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.

Меж мальчиков и девочек пригожих

и взрослых, чем-то на меня похожих,

мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.

Теней я замечаю удлиненье,

а также замечаю удивленье

прохожих, озирающих меня.

ТВОЙ ДОМ

Твой дои, не ведая беды,

меня встречал и в щеку чмокал.

Как будто рыба из воды,

сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,

как галка маленький, орущий,

и в беззащитном всеоружьи

торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли

я шла озябшим делегатом,

и дом смотрел в глаза мои

и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда

он не навлек, себя не выдал.

Дом клялся мне, что никогда

он этой женщины не видел.

Он говорил: - Я пуст, Я пуст. -

Я говорила: - Где-то, где-то... -

Он говорил: - И пусть. И пусть.

Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва

платка или иной приметы,

но дом твердил свои слова,

перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.

О, как он притворился ловко,

что здесь не падало слезы,

не облокачивалось локтя.

Как будто тщательный прибой

смыл все: и туфель отпечатки,

и тот пустующий прибор,

и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,

с кем он играл, и гвоздик малый

не ведал, кто его забил,

и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,

как будто выпал снег и стаял.

Припомнить не могли цветы,

кто их в стакан граненый ставил...

О дом чужой! О милый дом!

Прощай! Прошу тебя о малом:

не будь так добр. Не будь так добр.

Не утешай меня обманом.

АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.

Он так бездумно приступал к владенью,

и обращались лица ростовчан

и всех южан - навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.

Так падали мне на плечи созвездья,

как падают в заброшенном саду

сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,

соседей наших клавиши сердили,

к старинному роялю музыкант

склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.

О, можно было инструмент расстроить,

но твоего созвучия со мной

нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,

так недалеко звезды пролегали,

бульварами шагали моряки,

и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,

все так же побережье неизменно.

Лишь выпали из музыки одной

две ноты, взятые одновременно.

АПРЕЛЬ

Вот девочки - им хочется любви.

Вот мальчики - им хочется в походы.

В апреле изменения погоды

объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,

так ищешь ты к себе расположенья,

так ты бываешь щедр на одолженья,

к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,

приблизишь ты любое отдаленье,

безумному даруешь просветленье

и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.

Нет алчности просить тебя об этом.

Ты спрашиваешь - медлю я с ответом

и свет гашу, и в комнате темно.

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,

вещественных полна примет.

И нежность обретает внешность

и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой

вдруг станет на краю стола,

и ты склонишься удивленный

над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,

и будут все поражены.

- Откуда появилась ваза? -

ты строго спросишь у жены.

- И антиквар какую плату

спросил? -

О, не кори жену -

то просто я смеюсь и плачу

и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,

так их паденья тяжелы,

они звенят, как бы стаканы,

разбитые средь тишины.

За то, что мне тебя не видно,

а видно - так на полчаса,

я безобидно и невинно

свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,

как в горных высях повелось.

Ты закричишь: - Мне нет покою!

Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,

не бойся, "чур" не говори

те нежности моей кристаллы

осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно

наколдовала в стороне,

и вот образовалось нечто,

напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,

опять играя в эту власть,

я сохраню тебя от бедствий

и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!

Забудется игра моя.

Но сказки твоим малым детям

останутся после меня.

НЕСМЕЯНА

Так и сижу - царевна Несмеяна,

ем яблоки, и яблоки горчат.

- Царевна, отвори нам! Нас немало! -

под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми

и в горницу являются гурьбой,

здороваются, кланяются, имя

"Царевич" говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,

проходят, златом-серебром звеня.

Но вам своим богатством и бахвальством,

царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,

стараясь ради красного словца!

Но и сама слыву я не напрасно

глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: - Какой верна присяге,.

царевна, ты - в суровости своей? -

Я говорю: - Царевичи, присядьте.

Царевичи, постойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели

и шапки примеряли к головам?

На той неделе, о, на той неделе -

смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,

сам из татар, гулявших по Руси,

и я кричала: "Здравствуй, мой хороший! -

Вина отведай, хлебом закуси".

- А кто он был? Богат он или беден?

В какой он проживает стороне? -

Смеялась я: - Богат он или беден,

румян иль бледен - не припомнить мне..

Никто не покарает, не измерит

вины его. Не вышло ни черта.

И все же он, гуляка и изменник,

не вам чета. Нет. Он не вам чета.

x x x

В тот месяц май, в тот месяц мой

во мне была такая легкость,

и, расстилаясь над землей,

влекла меня погоды летность.

Я так щедра была, щедра

в счастливом предвкушенье пенья,

и с легкомыслием щегла

я окунала в воздух перья.

Но, слава богу, стал мой взор

и проницательней, и строже,

н каждый вздох и каждый взлет

обходится мне все дороже.

И я причастна к тайнам дня.

Открыты мне его явленья.

Вокруг оглядываюсь я

с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,

над черным снегом нависая,

как скучно женщины глядят,

склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,

не соблюдая клумб и грядок,

чужое бегает дитя

и нарушает их порядок.

x x x

Не уделяй мне много времени,

вопросов мне не задавай.

Глазами добрыми и верными

руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,

по следу следа моего.

Я знаю - снова не получится

из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости

хожу, с тобою не дружу?

Я не из гордости - из горести

так прямо голову держу.

СЕНТЯБРЬ

Ю. Нагибину

I

Что за погода нынче на дворе?

А впрочем, нет мне до погоды дела -

и в январе живу, как в сентябре,

настойчиво и оголтело.

Сентябрь, не отводи твое крыло,

твое крыло оранжевого цвета.

Отсрочь твое последнее число

и подари мне промедленье это.

Повремени и не клонись ко сну.

Охваченный желанием даренья,

как и тогда, транжирь свою казну,

побалуй все растущие деревья.

Что делалось! Как напряглась трава,

чтоб зеленеть с такою полнотою,

и дерево, как медная труба,

сияло и играло над землею.

На палисадники, набитые битком,

все тратилась и тратилась природа,

и георгин показывал бутон,

и замирал, и ожидал прироста.

Испуганных художников толпа

на цвет земли смотрела воровато,

толпилась, вытирала пот со лба,

кричала, что она не виновата:

она не затевала кутерьму,

и эти краски красные пролиты

не ей - и в доказательство тому

казала свои бедные палитры.

Нет, вы не виноваты. Все равно

обречены менять окраску ветви.

Но все это, что желто и красно,

что зелено, - пусть здравствует вовеки.

Как пачкались, как били по глазам,

как нарушались прежние расцветки.

И в этом упоении базар

все понижал на яблоки расценки.

II

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.

Все кончилось. Все начиналось снова.

До этого не начислялось дней,

как накануне рождества Христова.

И мы увиделись. И в двери мы вошли.

И дома не было за этими дверями.

Мы встретились, как старые вожди,

с закинутыми головами -

от гордости, от знанья, что к чему,

от недоверия и напряженья.

По твоему челу, по моему челу

мелькнуло это темное движенье.

Мы встретились, как дети поутру,

с закинутыми головами -

от нежности, готовности к добру

и робости перед словами.

Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,

ты действовал так слепо и неверно.

Свобода равнодушья, ты одна

будь проклята и будь благословенна.

Счастливы подзащитные твои -

в пределах крепости, поставленной тобою,

неуязвимые для боли и любви,

как мстительно они следят за мною.

И мы увиделись. Справлял свои пиры

сентябрь, не проявляя недоверья.

Но, оценив значительность игры,

отпрянули все люди и деревья.

III

Прозрели мои руки. А глаза -

как руки, стали действенны и жадны.

Обильные возникли голоса

в моей гортани, высохшей от жажды

по новым звукам. Эту суть свою

впервые я осознаю на воле.

Вот так стоишь ты. Так и я стою -

звучащая, открытая для боли.

Сентябрь добавил нашим волосам

оранжевый оттенок увяданья.

Он жить учил нас, как живет он сам, -

напрягшись для последнего свиданья...

IV

Темнеет наше отдаленье,

нарушенное, позади.

Как щедро это одаренье

меня тобой! Но погоди -

любимых так не привечают.

О нежности перерасход!

Он все пределы превышает.

К чему он дальше приведет?

Так жемчугами осыпают,

и не спасает нас навес,

так - музыкою осеняют,

так - дождик падает с небес.

Так ты протягиваешь руки

навстречу моему лицу,

и в этом - запахи и звуки,

как будто вечером в лесу.

Так - головой в траву ложатся,

так - держат руки на груди

и в небо смотрят. Так - лишаются

любимого. Но погоди -

сентябрь ответит за растрату

и волею календаря

еще изведает расплату

за то, что крал у октября.

И мы причастны к этой краже.

Сентябрь, все кончено? Листы

уж падают? Но мы-то - краше,

но мы надежнее, чем ты.

Да, мы немалый шанс имеем

не проиграть. И говорю:

- Любимый, будь высокомерен

и холоден к календарю.

Наш праздник им не обозначен.

Вне расписания его

мы вместе празднуем и плачем

на гребне пира своего.

Все им предписанные будни

как воскресения летят,

и музыка играет в бубны,

и карты бубнами лежат.

Зато как Новый год был жалок.

Разлука, будни и беда

плясали там. Был воздух жарок,

а лед был груб. Но и тогда

там елки не было. Там было

иное дерево. Оно -

сияло и звалось рябина,

как в сентябре и быть должно.

V

Сентябрь-чудак и выживать мастак.

Быть может, он не разминется с нами,

пока не будет так, не будет так,

что мы его покинем сами.

И станет он покинутый тобой,

и осень обнажит свои прорехи,

и мальчики и девочки гурьбой

появятся, чтоб собирать орехи.

Вот щелкают и потрошат кусты,

репейники приклеивают к платью

и говорят: - А что же плачешь ты? -

Что плачу я? Что плачу?

Наладится такая тишина,

как под водой, как под морской водою.

И надо жить. У жизни есть одна

привычка - жить, что б ни было с тобою.

Изображать счастливую чету,

и отдышаться в этой жизни мирной,

и преступить заветную черту -

блаженной тупости. Но ты, мой милый,

ты на себя не принимай труда

печалиться. Среди зимы и лета,

в другие месяцы - нам никогда

не испытать оранжевого цвета.

Отпразднуем последнюю беду.

Рябиновые доломаем ветки.

Клянусь тебе двенадцать раз в году:

я в сентябре. И буду там вовеки.

ДЕКАБРЬ

Мы соблюдаем правила зимы.

Играем мы, не уступая смеху,

и, придавая очертанья снегу,

приподнимаем белый снег с земли.

И, будто бы предчувствуя беду,

прохожие толпятся у забора,

снедает их тяжелая, забота:

а что с тобой имеем мы в виду.

Мы бабу лепим, только и всего.

О, это торжество и удивленье,

когда и высота и удлиненье

зависят от движенья твоего.

Ты говоришь:-Смотри, как я леплю.-

Действительно, как хорошо ты лепишь

и форму от бесформенности лечишь.

Я говорю: - Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты

и слушается нашего приказа.

И вдруг я замечаю, как прекрасно

лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,

мимо прохожих, с выраженьем дерзким.

С лицом таким же пристальным и детским,

любимый мой, всегда играй в игру.

Поддайся его долгому труду,

о моего любимого работа!

Даруй ему удачливость ребенка,

рисующего домик и трубу.

x x x

- Мы расстаемся - и одновременно

овладевает миром перемена,

и страсть к измене так в нем велика,

что берегами брезгает река,

охладевают к небу облака,

кивает правой левая рука

и ей надменно говорит: - Пока!

Апрель уже не предвещает мая,

да, мая не видать вам никогда,

и распадается Иван-да-Марья.

О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,

долготы отстранились от широт,

и белого не существует цвета -

остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,

отливы превращаются в прибой,

и молкнут звуки - по вине разлуки

меня с тобой.

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,

о мотороллер розового цвета!

Слежу за ним, не унимая слез,

что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку

с ликующей и гибельной улыбкой,

кажусь я приникающей к листку,

согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня

и меркнет там, в зеленых отдаленьях.

Две радуги, два неба, два огня,

бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозъ плащ,

как стебель тонкий сквозь стекло и воду.

Вдруг из меня какой-то странный плач

выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,

и песенки мотив так прост и вечен.

Но, видишь ли, веселый твой полет

недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки

и не опасно головокруженье,

что по другую сторону доски

я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,

твой шум летит в лужайках отдаленных.

Пока моя походка тяжела,

подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! - покуда я стою.

Так лепечи! - покуда я немею.

Всю легкость поднебесную твою

я искупаю тяжестью своею.

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

Вот к будке с газированной водой,

всех автоматов баловень надменный,

таинственный ребенок современный

подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,

монету влажную он опускает в щелку,

и, нежным брызгам подставляя щеку,

стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг

и фамильярность с тайною простою!

Но нет, я этой милости не стою,

пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,

несет в ладони семь стеклянных граней,

и отблеск их летит на красный гравий

и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру

и поддаюсь с блаженным чувством риска

соблазну металлического диска,

и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,

родится омут сладкий и соленый,

неведомым дыханьем населенный

и свежей толчеею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,

пронзают небо в сладости короткой,

и вот уже, разнеженный щекоткой,

семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа

взирает с добротою старомодной,

словно крестьянка, что рукой холодной

даст путнику напиться из ковша.

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,

когда зима грязна и белоснежна,

печаль моя печальна не вполне,

не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,

я лишь твое лицо не лицемерно.

Рука твоя на голову мою

ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.

Открытыми объятия ты держишь.

Все говоры, все шепоты твои

мне на ухо нашепчешь и утешишь.

Но в этот день не так я молода,

чтоб выбирать меж севером и югом.

Свершилась поздней осени беда,

былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.

Живой и мрачной силой он напрягся.

То, что тебя покинуть норовит, -

пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,

как будет он использовать свободу.

Я медленно иду по октябрю,

сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,

я бег моих колен остановила.

Вы пробовали жить в чужом дому?

Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен.

и я могла уйти. Но так случилось,

что в этом доме, в ванной, жил сверчок.

поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба

и потому - с доверьем и тоскою -

тот слабый скрип, той песенки слова

я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,

что так, друг друга не опровергая,

два пустяка природы - он и я -

живут тихонько, песенки слагая.

Итак - я здесь. Мы по ночам не спим,

я запою - он отвечать умеет.

Ну, хорошо. А где же снам моим,

где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,

где высочайший юноша вселенной

меж туч и солнца, меж добра и зла

стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,

как в медленном недоуменье танца,

течения Арагвы и Куры

ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.

Души его воинственна молитва.

В ней гром мечей, и лошадиный храп,

и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь

еще живет всей свежестью размаха,

где малый камень с легкостью вместил

великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?

Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью

в моем мозгу и чернотой меж век,

все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,

в своей нижайшей муке превосходства,

хотя б сверчок любимому, тебе,

сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,

где-только-то! - через четыре года

сомкнется над тобою навсегда

пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам

найду тебя под солнцем, возле Мцхета.

Возьму себе всем зреньем, не отдам,

и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей

чужой земли таинственная новость,

тем яростней соблазн земли твоей,

нужней ее сладчайшая суровость.

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ

ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

В ТБИЛИСИ

Мне - пляшущей под мцхетскою луной,

мне - плачущей любою мышцей в теле,

мне - ставшей тенью, слабою длиной,

не умещенной в храм Свети-Цховели,

мне - обнаженной ниткой, серебра

продернутой в твою иглу, Тбилиси,

мне - жившей под звездою, до утра,

озябшей до крови в твоей теплице,

мне - не умевшей засыпать в ночах,

безумьем растлевающей знакомых,

имеющей зрачок коня в очах,

отпрянувшей от снов, как от загонов,

мне - в час зари поющей на мосту:

"Прости нам, утро, прегрешенья наши.

Обугленных желудков нищету

позолоти своим подарком, хаши",

мне - скачущей наискосок и вспять

в бессоннице, в ее дурной потехе, -

о господи, как мне хотелось спать

в глубокой, словно колыбель, постели.

Спать - засыпая. Просыпаясь - спать.

Спать - медленно, как пригублять напиток.

О, спать и сон посасывать, как сласть,

пролив слюною сладости избыток.

Проснуться поздно, глаз не открывать,

чтоб дальше искушать себя секретом

погоды, осеняющей кровать

пока еще не принятым приветом.

Мозг слеп, словно остывшая звезда.

Пульс тих, как сок в непробужденном древе.

И - снова спать! Спать долго. Спать всегда.

Спать замкнуто, как в материнском чреве.

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:

прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу. Иль восхожу

к высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил

погибели. Не в этом дело.

Как ты любил? Ты погубил,

но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет

тебе прощенья. Живо тело,

и бродит, видит белый свет,

но тело мое опустело.

Работу малую висок

еще вершит. Но пали руки,

и стайкою, наискосок,

уходят запахи и звуки.

x x x

По улице моей который год

звучат шаги - мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,

нет в их домах ни музыки, ни пенья,

и лишь, как прежде, девочки Дега

голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх

вас, беззащитных, среди этой ночи.

К предательству таинственная страсть,

друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!

Посверкивая циркулем железным,

как холодно ты замыкаешь круг,

не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!

Твой баловень, обласканный тобою,

утешусь, прислонясь к твоей груди,

умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,

на том конце замедленного жеста

найти листву, и поднести к лицу,

и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,

твоих концертов строгие мотивы,

и - мудрая - я позабуду тех,

кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,

свой тайный смысл доверят мне предметы.

Природа, прислонясь к моим плечам,

объявит свои детские секреты.

И вот тогда - из слез, из темноты,

из бедного невежества былого

друзей моих прекрасные черты

появятся и растворятся снова.

МОИ ТОВАРИЩИ

1.

- Пока! - товарищи прощаются со мной.

- Пока! - я говорю. - Не забывайте! -

Я говорю: - Почаще здесь бывайте! -

пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,

и подымаются их голоса обратно.

Им надо долго ехать-де Арбата,

до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятны давно

мне все приметы этой обстановки.

Мои товарищи стоят на остановке,

и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,

и что-то занимается другое.

Закрыв окно, я говорю: - О горе,

входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,

они сидели здесь и говорили,

еще восходит над столом дымок -

это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.

Лицо его покойно и довольно.

И я смотрю и говорю: - Довольно!

Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: - Я уважаю их.

Но вряд ли им удастся отличиться.

- О, им еще удастся отличиться

от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим -

и это тоже важное искусство,

и все-таки другое есть Искусс-

мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь: - Ну, всего

хорошего, во всем тебе удачи!

Моим товарищам не надобно удачи!

Мои товарищи добьются своего!

А.Вознесенскому

2.

Когда моих товарищей корят,

я понимаю слов закономерность,

но нежности моей закаменелость

мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,

я головой киваю: слаб Андрей!

Он держится за рифму, как Антей

держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:

кощунственно венчать "гараж" с "геранью",

и все-таки о том судить Гераклу,

поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет

сравнил с аэропортом, - это глупость.

Гораздо больше в нем азарт и гулкость

напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?

Зачем ты воздух детским лбом таранишь?

Все это так. Но все ж он мой товарищ.

А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,

выходит мальчик с резвостью жонглера.

По правилам московского жаргона

люблю ему сказать: "Привет, Андрей!"

Люблю, что слова чистого глоток,

как у скворца, поигрывает в горле.

Люблю и тот, неведомый и горький,

серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвали или кори,

есть от пророка, есть от скомороха,

и мир ему - горяч, как сковородка,

сжигающая руки до крови.

Все остальное ждет нас впереди.

Да будем мы к своим друзьям пристрастны!

Да будем думать, что они прекрасны!

Терять их страшно, бог не приведи!

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,

обременяющей чело, -

мне маленькие самолеты

все снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как сниться мне:

то, как птенцы, с моей ладони

они зерно берут, то в доме

живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они

носами глупыми: рыбешка

так ходит возле ног ребенка,

щекочет и смешит ступни.

Порой вкруг моего огня

они толкаются и слепнут,

читать мне не дают, и лепет

их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми

ко мне пришли, и со слезами,

едва с моих колен слезали,

кричали: "На руки возьми!"

Прогонишь - снова тут как тут:

из темноты, из блеска ваксы.

кося белком, как будто таксы,

тела их долгие плывут.

Что ж, он навек дарован мне -

сон жалостный, сон современный,

и в нем - ручной, несоразмерный

тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,

иду я на аэрмы-

следить огромные те громы,

озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты

всесильный действует пропеллер,

я думаю - ты все проверил,

мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром

всех обманул - на самом деле

ты крошка, ты дитя, ты еле

заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой

на разных полюсах пространства.

Наверно боязно расстаться

тебе со мной - такой большой?

Но там, куда ты вознесен,

во тьме всех позывных мелодий,

пускай мой добрый, странный сон

хранит тебя, о самолетик!

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,

в той нищенской, в той суверенной,

где старомодным чудаком

задор владеет современный,

где вкруг нечистого стола,

среди беды претенциозной,

капроновые два крыла

проносит ангел грациозный, -

в той комнате, в тиши ночной,

во глубине магнитофона,

уже не защищенный мной,

мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю - там, пока я сплю,

жестокий медиум колдует

и душу слабую мою

то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной

в зеленом облаке окна

танцует голосок старинный

для развлеченья колдуна.

Он так испуганно и кротко

является чужим очам,

как будто девочка-сиротка,

запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,

воспитанный моей гортанью,

лукавящий на каждом "эль",

невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,

моим губам еще родимый,

вспорхнув, остался в стороне,

как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,

изведавший ее приятность,

уж он вкусил свободы той

бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,

старик к нему взывает снова,

в застиранные два крыла

целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным

магнитофон во тьме хлопочет,

мой бедный голос пятки им

прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю - злорадству их

он кажет нежные изъяны

картавости - и снов моих

нецеломудренны туманы.

СОН

О опрометчивость моя!

Как видеть сны мои решаюсь?

Так дорого платить заость-

заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп

сентябрьский воздух. Все знакомо:

осенняя пригожесть дома,

вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод

разделывает сад знакомый

и говорит, что он законный

владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз

я знала здесь печаль и гордость,

и нежную шагов нетвердость,

и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней,

а нежность-облаком вчерашним,

а нежность - обмороком влажным

меня омыла у дверей.

Но садоводова жена

меня приветствует жеманно.

Я говорю: - Как здесь туманно...

И я здесь некогда жила.

Я здесь жила-лет сто назад.

-Лет сто? Вы шутите?

-Да нет же!

Шутить теперь? Когда так нежно

столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежи

в ладонях нежности - к родимой

коре деревьев, запах дымный

в саду все тот же.

- Не скажи! -

промолвил садовод в ответ.

Затем спросил: - Под паутиной,

со старомодной челкой длинной,

не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд

с тех давних пор, когда в кручине,

не помню, по какой причине,

вы умерли-лет сто назад.

- Возможно, но - жить так давно,

лишь тенью в чердаке остаться,

и все затем, чтоб не расстаться

с той нежностью? Вот что смешно.

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне - я проживу

счастливой нищей, доброй каторжанкой,

озябшею на севере южанкой,

чахоточной да злой петербуржанкой

на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу

той хромоножкой, вышедшей на паперть,

тем пьяницей,

проникнувшим на скатерть,

и этим, что малюет божью матерь,

убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу

той грамоте наученной девчонкой,

которая в грядущести нечеткой

мои стихи, моей рыжея челкой,

как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу

сестры помилосердней милосердной,

в военной бесшабашности предсмертной,

да под звездой Марининой пресветлой

уж как-нибудь, а все ж я проживу.

x x x

Однажды, покачнувшись на краю

всего, что есть, я ощутила в теле

присутствие непоправимой тени,

куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь

заметила, что я задула свечи,

зажженные для сотворенья речи, -

без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла

к скончанью мук! Не молвила ни слова.

А это просто возраста иного

искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долрожилу-

Но с той поры я мукою земною

зову лишь то, что не воспето мною,

все прочее - блаженством я зову.

СЛОВО

"Претерпевая медленную юность,

впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,

пишу стихи, мне говорят: порви!

А вы так просто говорите слово,

вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна", -

так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,

хозяевам вслепую спать мешая,

о воздух спотыкаясь, как о пень,

стыдясь своей громоздкой неудачи,

над каждой книгой обмирая в плаче,

я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь - в Перми живет ребенок странный,

владеющий высокой и пространной,

невнятной речью, и, когда горит

огонь созвездий, принятых над Пермью,

озябшим горлом, не способным к пенью,

ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели

во мне иль в ком-то, в неживом ущелье

гортани, погруженной в темноту,

была такая чистота проема,

чтоб уместить во всей красе объема

всезнающего слова полноту?

О нет, во мне - то всхлип, то хрип, и снова

насущный шум, занявший место слова

там, в легких, где теснятся дым и тень,

и шее не хватает мощи бычьей,

чтобы дыханья суетный обычай

вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,

терзает горло ссадиной кровавой,

заговорю - и обагрю платок.

В безмолвие, как в землю, погребенной,

мне странно знать,

что есть в Перми ребенок,

который слово выговорить мог.

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?

Кто мой голос из горла увел?

Не умеет заплакать о нем

рана черная в горле моем.

Сколь достойны хвалы и любви,

март, простые деянья твои,

но мертвы моих слов соловьи,

и теперь их сады - словари.

- О, воспой! - умоляют уста

снегопада, обрыва, куста.

Я кричу, но, как пар изо рта,

округлилась у губ немота.

Вдохновенье - чрезмерный, сплошной

вдох мгновенья душою немой,

не спасет ее выдох иной,

кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, и дохну, и лгу,

что еще не останусь в долгу

пред красою деревьев в снегу,

о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс -

как угодно, нечаянно, пусть!

И во все, что воспеть тороплюсь,

воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,

и любила всех слов имена,

и устала вдруг, как умерла, -

сами, сами воспойте меня.

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,

уж целый год не знаю, не умею

слагать стихи и только немоту

тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете - но вот уже строфа,

четыре строчки в ней, она готова.

Я не о том. Во мне уже стара

привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.

Я не о том. Как это прежде было?

Когда происходилое строка-

другое что-то. Только что? - Забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,

когда шалило голосом так смело,

само, как смех, смеялось на устах

и плакало, как плач, если хотело?

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума -

достаточно, чтобы озябли ноги.

Осенние прогулки вдоль дороги

располагают к этому весьма.

Грипп в октябре-всевидящ, как господь.

Как ангелы на крыльях стрекозиных,

слетают насморки с небес предзимних

и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,

сам для себя неведомый и странный,

пока еще банальности туманной

костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,

но вот тебе с улыбкой добродушной

простуда шлет свой поцелуй воздушный,

и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник

ни дружб твоих, ни праздничных процессий.

Благоговейно подтверждает Цельсий

твой сан особый средь людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет

лад мышкой ртуть, она замрет - и тотчас

овределит серебряная точность,

какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток

дарит тебе непринужденность духа,

благие преимущества недуга

и смелости недобрый холодок.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук

в блаженстве той свободы пустяковой,

когда былой уже закончен труд

и - лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим

небыстрым ходом! Но - за проволочку -

теперь сполна я расквиталась с ним,

пощечиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.

Целует в лоб младенческая легкость.

Свободен - легкомысленный висок.

Свободен - спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, - розов и мордаст,

так кротко спит твой бешеный сангвиник,

всем утомленьем вклеившись в матрац,

как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнет

неведенья рассудком безрассудным.

Но день воскресный уж баклуши бьет

то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют

чужой плечам, остывшей за ночь кофты,

хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,

и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,

холодный душ уже развесил розги.

Я прыгаю с постели, как в сугроб -

из бани, из субтропиков - в морозы.

Под гильотину ледяной струи

с плеч голова покорно полетела.

О умывальник, как люты твои

чудовища - вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,

когда туманы воздух утолщают

и зрелых капель чистые плоды

бесплодье зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня-отдых мой,

ликую я - твой добрый обыватель,

вдыхатель твоей влажности густой,

твоих сосулек теплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нем

не обнаружить малого пробела,

который я, в усердии моем,

восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,

нога дедок любовно расколола.

Могуществом кофейного зерна

язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,

глубоко в горле возникает голос.

Ко мне крадется ненасытный труд,

терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,

зияя пустотою, как скворешник,

весну корящий, - разве не могла

его наполнить толчеей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев

мне не бродить. Но что все это значит?

Бумаги белый и отверстый зев

ко мне взывает и участья алчет.

Иду - поить губами клюв птенца,

наскучившего и опять родного.

В ладонь склоняясь тяжестью лица,

я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,

располагаю голову и плечи,

чтоб обижал и ранил их процесс,

к устам влекущий восхожденье речи.

Я - мускул, нужный для ее затей.

Речь так спешит в молчанье не погибнуть,

свершить звукорожденье и затем

забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее - лишь дудка, чтоб дудеть.

Пускай дудит и веселит окрестность.

А мне опять - заснуть, как умереть,

и пробудиться утром, как воскреснуть.

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода

от явных чисел века, года, дня.

Когда?-Неважно. Вот открытость входа

в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,

ни в деревах, исполненных любви,

нет доказательств э столетья,-

бери себе другое - и живи.

Ошибкой зренья, заблужденьем духа

возвращена в аллеи старины,

бреду по ним. И встречная старуха,

словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.

Но в сумерках мои глаза вольны

увидеть дом, где счастливо семейство,

где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины -

шуметь, краснеть и руки целовать,

где и меня к себе рукой манили,

где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным

стать тишиною неба и воды, -

чьи пальчики по клавишам лепечут? -

Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,

тот медленный, затеянный людьми,

старинный вальс, старинная примета

чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха

вести игру, где действуют река,

пустое поле, дерево, старуха,

деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка

блуждает там, в беспамятстве, вдали,

в той родине, чья странная ошибка

даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок

трезвеет, рыщет, снова хочет знать

живых вещей отчетливый рисунок,

мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,

я слышу, как на диком языке

мне шлет свое проклятие транзистор,

зажатый в непреклонном кулаке.

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,

уснувший тихо средь ветвей и грядок,

не сознавать свою живую плоть,

ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.

В нем - мышцы влаги, красота пигмента,

то тех, то этих действий толчея.

Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравою детей,

не совладаешь со своим же телом,

не предусмотришь всех его затей,

не расплетешь его переплетений.

И так надоедает под конец

в себя смотреть, как в пациента лекарь,

все время слышать треск своих сердец

и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,

вот отвернусь, но любопытно глазу.

Так музыка на верхнем этаже

мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,

под снегом, вырастающим на кровле,

живу одна и будто бы вдвоем -

со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,

то бьется пульс, как бабочка в ладони.

Ну, слава богу, думаю, живой

остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,

мой организм, живой зверек природы,

верши, верши простую жизнь свою,

как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!

В глубоком одиночестве, зимою,

я всласть повеселюсь средь пустоты,

тесно и шумно населенной мною.

ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,

неграмотным я рыщу взглядом.

Я мало смыслю в декабре,

что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад - не различить.

Здесь свадьба двух стихий творится.

Их совпаденье разлучить

не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь

не вклинится! Им не заметен

медопролитный крах плодов,

расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!

Погибнут дождь и сад друг в друге,

оставив мне решать судьбу

зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь

для мимолетной щели светлой,

чтоб птицы маленькая дрожь

вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,

что в промежуток их раздора

мне б следовало втиснуть дом,

где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна

два раза вытерпеть усладу:

страдать от сада и дождя

и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нем все мертво!

Не я ли совершила это?

Приют сиротства моего

моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,

но все ж не то и не настолько,

чтоб выпрошенной мной бедой

чужие вышибало стекла.

Все дождь и сад сведут на нет,

изгнав из своего объема

не обязательный предмет

вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре

так возгордиться духом слабым,

чтобы препятствовать игре,

затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,

с ее деревьями и мглою,

чужое место на земле,

некстати занятое мною?

x x x

Зима на юге. Далеко зашло

ее вниманье к моему побегу.

Мне - поделом. Но югу-то за что?

Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду

растений полумертвые подранки.

Гнев севера меня имел в виду,

я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?

Сил не было иметь температуру,

которая бездомью моему

не даст погибнуть спьяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,

под натиском ее несправедливым,

я отступала в теплый тыл земли,

пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,

повис над морем - если море это:

волна, недавно бывшая водой,

имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,

мороз кончины им сулят прогнозы.

Не твой ли ямб, любовь моей души,

шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне теплицы красоты!

Я удалюсь и все это улажу.

Зачем влекла я в чуждые сады

судьбы своей громоздкую поклажу?

Мой ад - при мне, я за собой тяну

суму своей печали неказистой,

так альпинист, взмывая в тишину,

с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь-так обнаглеть и занестись,.

чтоб дисциплину климата нарушить!

Вернулась я, и обжигает кисть

обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,

лишила юг опалы снегопада.

Сладчайшего цветения прилив

был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.

Краса мурашек серебрит мне спину.

И, в сущности, я польщена весьма

влюбленностью зимы в мою ангину.

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,

все слаще обмирает улей.

Все глубже осень, и душа

все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив

плода, из пустяка пустого

отлитого. Как кропотлив

труд осенью, как тяжко слово.

Значительнее, что ни день,

природа ум обременяет,

похожая на мудрость лень

уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед

влекущее,

вертя педалью,

вдруг поглядит на белый свет

с какой-то ясною печалью.

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты - мудрость. Суть решений

перед тобою так мелка,

и осеняет темный гений

глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах

был разум мой высок и скуп,

но трав целебных поределых

вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,

я, с точностью того зверька,

принюхавшись, нашла свой выход

в печальном стебельке цветка.

О, всех простить - вот облегченье!

О, всех простить, всем передать

и нежную, как облученье,

вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!

При вас лишь, в бедности моей,

я плакала от смутной веры

над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!

Пусть вы протянуты к тому,

что лишь моей любви и муки

предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!

Вы были мне укор и суд.

Все мои горестные плачи

досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!

Целую наспех все уста!

Во мне, как в мертвом теле круга,

законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,

как в белых дребезгах перин,

и уж не тягостен мой локоть

чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.

Жду одного: на склоне дня,

охваченный болезнью схожей,

пусть кто-нибудь простит меня.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать

уж сыплется, уж смотрит с неба.

Иду и хоронюсь от света,

чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья

так выразил в сосульках этих!

И, запрокинув свой беретик,

на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,

со сладкой льдинкою во рту,

оскальзываясь, приседая,

по снегу белому иду.

ЗИМА

О жест зимы ко мне,

холодный и прилежный.

Да, что-то есть в зиме

от медицины нежной.

Иначе как же вдруг

из темноты и муки

доверчивый недуг

к ней обращает руки?

О милая, колдуй,

заденет лоб мой снова

целебный поцелуй

колечка ледяного.

И все сильней соблазн

встречать обман доверьем,

смотреть в глаза собак

и приникать, к деревьям.

Прощать, как бы играть,

с разбега, с поворота,

и, завершив прощать,

простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,

с его пустым овалом,

и быть всегда при нем

его оттенком, малым.

Свести себя на нет,

чтоб вызвать за стеною

не тень мою, а свет,

не заслоненный мною.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Все началось далекою порой,

в младенчестве, в его начальном классе,

с игры в многозначительную роль: -

быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,

без промаха - непоправимо мимо,

чтоб стать любимой менее, чем все,

чем все, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?

Полюбит ли мышиный сброд умишек

то чудище, несущее во тьму

всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств

и счетовод безумств витиеватых

не зря не любит излученье уст,

пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незваная звезда,

чей голосок, нечаянно, могучий,

его освобождает от труда

старательно содеянных созвучий?

В приют ее - меж грязью и меж льдом!

Но в граде чернокаменном, голодном,

что делать с этим неуместным лбом?

Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума

тоску и непомерность превосходства,

она насквозь минует терема

всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра

жестокосердно примирится с горем,

с избытком рокового мастерства -

во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!

Ты гнал ее, как принято, как надо,

но мрак твоих обоев и белил

еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,

с надменностью ты целовал ей руки,

он все же был лишь захолустьем крыш,

провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,

с непревзойденным бедствием столицы,

где рыщет Марс над плесенью воды,

тревожа тень кавалерист - девицы?

Затмивший золотые города,

чернеет двор последнего страданья,

где так она нища и голодна,

как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы

Елабуге, пред прочею землею.

Кунсткамерное чудо головы

изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было горло и рука,

в пути меж ними станет звук строкою,

все тот же труд меж горлом и рукою,

и смертный час - не больше, чем строка.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,

поглядывать зрачком - красна ль рябина,

и целый август вытерпеть? О, впрямь

ты - сильное чудовище, Марина.

КЛџНУСЬ

Тем летним снимком на крыльце чужом

как виселица, криво и отдельно

поставленным, не приводящим в дом,

но выводящим из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,

стесняющий огромный мускул горла,

так и сидишь, уже отбыв, допев

труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым острием локтей

ребенка с удивленною улыбкой,

которой смерть влечет к себе детей

и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,

когда, хлебая безвоздушность горя,

от задыхания твоих тире

до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим крала, несла,

брала себе тебя и воровала,

забыв, что ты - чужое, ты - нельзя,

ты - богово, тебя у бога мало.

Последней исхудалостию той,

добившею тебя крысиным зубом.

Благословенной родиной святой,

забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру

вседобрым африканцем небывалым,

который созерцает детвору.

И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,

где нет тебе ни ремесла, ни муки.

Клянусь убить Елабугу твою,

Елабугой твоей, чтоб спали внуки.

Старухи будут их стращать в ночи,

что нет ее, что нет ее, не зная:

"Спи, мальчик или девочка, молчи,

ужо придет Елабуга слепая".

О, как она всей путаницей ног.

припустится ползти, так скоро, скоро.

Я опущу подкованный сапог

на щупальцы ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,

в затылок ей - и продержать подольше.

Детенышей ее зеленый сок

мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо

я брошу в землю, раз земля бездонна,

ни словом не обмолвясь про крыльцо

Марининого смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,

зловоньем ила, жабами колодца,

примеривая желтый глаз ко мне,

убить меня Елабуга клянется.

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,

что, - как меня, -

озябшею гортанью

не говорю: тебя - как свет! как снег! -

усильем шеи, будто лед глотаю,

стараюсь вымолвить: тебя, как всех,

учили музыке. (О крах ученья!

Как если бы, под богов плач и смех,

свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:

рояль и ты - два совершенных круга,

в тоске взаимной глухонемоты

терпя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены

в неразрешимой и враждебной встрече:

рояль и ты - две сильных тишины,

два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес

решает дело. Что рояль? Он узник

безгласности, покуда в до-диез

мизинец свой не окунет союзник.

А ты - одна. Тебе - подмоги нет.

И музыке трудна твоя наука -

не утруждая ранящий предмет,

открыть в себе кровотеченье звука.

Марина, до! До - детства, до - судьбы,

до - ре, до - речи, до - всего, что после,

равно, как вместе мы склоняли лбы

в той общедетской предрояльной позе,

как ты, как ты, вцепившись в табурет, -

о карусель и Гедике ненужность! -

раскручивать сорвавшую берет,

свистящую вкруг головы окружность.

Марина, это все - для красоты

придумано, в расчете на удачу

раз накричаться: я - как ты, как ты!

И с радостью бы крикнула, да - плачу.

x x x

Четверть века, Марина, тому,

как Елабуга ластится раем

к отдохнувшему лбу твоему,

но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,

что тебе удалось как удача,

я добавлю бесформенный звук

дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы - мертв и мертва,

две пустынности, два ударенья -

царскосельских садов дерева,

переделкинских рощиц деревья.

И усильем двух этих кончин

так исчерпана будущность слова.

Не осталось ни уст, ни причин,

чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда

есть свобода и есть безмятежность:

перед кем пламенеть от стыда,

оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?

Без прощения, без обещанья

имена их любовью твоей

были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и - плетей

только два тебе есть утешенья:

что не знала двух этих смертей

и воспела два этих рожденья.

СВЕЧА

Всего-то - чтоб была свеча,

свеча простая, восковая,

и старомодность вековая

так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо

к той грамоте витиеватой,

разумной и замысловатой,

и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях

все чаще, способом старинным,

и сталактитом стеаринным

займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,

и ночь прошла, и гаснут свечи,

и нежный вкус родимой речи

так чисто губы холодит.

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал

и еще до свершения тьмы

Переделкино переиначил

в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку

он отринул и вытер с доски

и возвысил в полях электричку

до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,

их ничтожный размер одолев,

возымела значенье природы

невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,

голос древнего пенья возник,

и уже не села, а вселенной

ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,

сам дивясь, что он здесь и таков,

пролетел лучезарно здоровый

и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,

этот лыжник, земля и луна -

лишь причина для стихосложенья,

для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом

ясен разум и воля свежа,

в промежутке меж звуком и словом

опрометчиво медлит душа.

МЕТЕЛЬ

Февраль - любовь и гнев погоды.

И, странно воссияв окрест,

великим севером природы

очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,

открыв длину и ширину,

берет себе непринужденно

весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе -

метель посвящена тому,

кто эти дерева и дачи

так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,

сосну, понурившую ствол,

в иное он вовлек значенье

и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,

пространство, загрустив о нем,

той речи бред и бормотанье

имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,

вдруг, на мгновенье, прервалась

меж домом тем и тем кладбищем

печали пристальная связь.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,

в глубокий день зимы и снегопада,

когда душа свободна и проста,

снегов успокоителен избыток

и пресной льдинки маленький напиток

так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе - в тебе самом, -

подумать, и увидеть, что Симон

идет один к заснеженной ограде.

О, нет, зимой мой ум не так умен,

чтобы поверить и спросить: - Симон,

как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков

с твоей землею, где, навек заплакав

от нежности, все плачет тень моя,

где над Курой, в объятой богом Мцхете,

в садах зимы берут фиалки дети,

их называя именем "Иа"?

И, коль ты здесь, кому теперь видна

пустая площадь в три больших окна

и цирка детский круг кому заметен?

О, дома твоего беспечный храм,

прилив вина и лепета к губам

и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,

и в наше время от зимы до лета

полгода жизни, лета два часа.

И приникаю я лицом к Симону

все тем же летом, того же зимою,

когда цветам и снегу нет числа.

Пускай же все само собой идет:

сам прилетел по небу самолет,

сам самовар нам чай нальет в стаканы. -

Не будем звать, но сам придет сосед

для добрых восклицаний и бесед,

и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,

любуйся его милой худобою,

возьми себе, не отпускай домой.

Но уж звонит во мне звонок испуга:

опять нам долго не видать друг друга

в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.

Я предалась заботам января,

вздохнув во сне легко и сокровенно.

И снова я тоскую поутру.

И в сад иду, и веточку беру,

и на снегу пишу я: Сакартвело.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.

Природа вокруг тяжела, серьезна.

В час осени крайний - так скучно локтям

опять ушибаться об угол сиротства.

Соседской четы непомерный визит

все длится, и я, всей душой утомляясь,

ни слова не вымолвлю - в горле висит

какая-то глухонемая туманность.

В час осени крайний - огонь погасить

и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,

что некогда звали тебя погостить

в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,

напялив калоши, - скорее, скорее

туда, где, румяные щеки надув,

художник умеет играть на свирели.

О милое зрелище этих затей!

Средь кистей, торчащих из банок и ведер,

играет свирель и двух малых детей

печальный топочет вокруг хороводик.

Два детские личика умудрены

улыбкой такою усталой и вечной,

как будто они в мирозданье должны

нестись и описывать круг бесконечный.

Как будто творится века напролет

все это: заоблачный лепет свирели

и маленьких тел одинокий полет

над прочностью мира, во мгле акварели.

И я, притаившись в тени голубой,

застыв перед тем невесомым весельем,

смотрю на суровый их танец, на бой

младенческих мышц

с тяготеньем вселенным -

Слабею, впадаю в смятенье невежд,

когда, воссияв над трубою подзорной,

их в обморок вводит избыток небес,

терзая рассудок тоской тошнотворной.

Но полно! И я появляюсь в дверях,

недаром сюда я брела и спешила.

О счастье, что кто-то так радостно рад,

рад так беспредельно

и так беспричинно!

Явленью моих одичавших локтей

художник так рад, и свирель его рада,

и щедрые ясные лица детей

даруют мне синее солнышко взгляда.

И входит, подходит та, милая, та,

простая, как холст,

не насыщенный грунтом.

Но кроткого, смирного лба простота

пугает предчувствием

сложным и грустным.

О скромность холста,

пока срок не пришел,

невинность курка,

пока пальцем не тронешь,.

звериный, до времени спящий прыжок,

нацеленный в близь, где играет звереныш.

Как мускулы в ней высоко взведены,

когда первобытным следит исподлобьем

три тени родные, во тьму глубины

запущенные виражом бесподобным.

О девочка цирка, хранящая дом!

Все ж выдаст болезненно -

звездная бледность -

во что ей обходится маленький вздох

над бездной внизу, означающей бедность.

Какие клинки покидают ножны,

какая неисповедимая доблесть

улыбкой ответствует гневу нужды,

каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,

как слабо затылок ее позолочен,

но неколебимо хранит прямоту

прозрачный, стеклянный ее позвоночник.

И радостно мне любоваться опять

лицом ее, облаком неочевидным,

и рученьку боязно в руку принять,

как тронуть скорлупку

в гнезде соловьином.

И я говорю: - О, давайте скорей

кружиться в одной карусели отвесной,

подставив горячие лбы под свирель,

под ивовый дождь ее частых отверстий!

Художник на бочке высокой сидит,

как Пан, в свою хитрую дудку дудит.

Давайте, давайте кружиться всегда,

и все, что случится, - еще не беда,

ах, господи боже мой, вот вечеринка,

проносится около уха звезда,

под веко летит золотая соринка,

и кто мы такие, и что это вдруг

цветет акварели голубенький дух,

и глина краснеет, как толстый ребенок,

и пыль облетает с холстов погребенных,

и дивные рожи румяных картин

являются нам, когда мы захотим.

Проносимся! И посреди тишины

целуется красное с желтым и синим,

и все одиночества душ сплочены

в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два

и дольше, но дому еще не наскучить,

случайно узнать, что стоят дерева

под тяжестью белой, повисшей на сучьях,

с утра втихомолку собраться домой,

брести облегченно по улице снежной,

жить дома, пока не придет за тобой

любви и печали порыв центробежный.

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Б. Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.

Снег занес, мою крышу еще - в январе,

предоставив мне замкнутость дум и деяний.

Я жила взаперти, как огонь в фонаре

или как насекомое, что в янтаре

уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною

внезапно возник,

и тем более странен был этот визит,

что снега мою дверь охраняли сурово.

Например - я зерно моим птицам несла.

"Можно ль выйти наружу?" - спросила. -

"Нельзя", -

мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам,

неведомый гость.

Он прошел через стенку насквозь,

словно гвоздь,

кем-то вбитый извне для неведомой цели.

Впрочем, что же еще оставалось ему,

коль в дому, замурованном в снежную тьму,

не осталась для входа ни двери, ни щели.

Странный гость -

он в гостях не гостил, а царил.

Он огнем исцелил

свой промокший цилиндр,

из-за пазухи выпустал свинку морскую

и сказал: "О, пардон, я продрог, и притом

я ушибся, когда проходил напролом

в этот дом, где теперь простудиться рискую".

Я сказала: "Огонь вас утешит, о гость.

Горсть орехов, вина быстротечная гроздь -

вот мой маленький юг

среди вьюг справедливых.

Что касается бедной царевны морей -

ей давно приготовлен любовью моей

плод капусты, взращенный

в нездешних заливах".

Странный гость похвалился:

"Заметьте, мадам,

что я склонен к слезам,

но не склонны к следам

мои ноги промокшие. Весь я - загадка!"

Я ему объяснила, что я не педант

и за музыкой я не хожу по пятам,

чтобы видеть педаль

под ногой музыканта.

Странный гость закричал:

"Мне не нравится тон

ваших шуток!

Потом будет жуток ваш стон!

Очень плохи дела ваших духа и плоти!

Потому без стыда я явился, сюда,

что мне ведома бедная ваша судьба"..

Я спросила его: "Почему вы не пьете?"

Странный гость

не побрезговал выпить вина.

Опрометчивость уст его речи свела

лишь к ошибкам, улыбкам

и доброму плачу:

"Протяжение спора угодно душе!

Вы - дитя мое, баловень и протеже.

Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещий зверь

чистой шерстью белел -

ошибитесь, возьмите счастливый билет!

Выбирайте любую утеху мирскую!"

Поклонилась я гостю: "Вы очень добры,

до поры отвергаю я ваши дары.

Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злому сиротству сестра?

Как остра эта грусть - озираться со сна

средь стихии чужой,

а к своей не пробиться.

О, как нежно марина, моряна, моря

неизбежно манят и минуют меня,

оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном - благодарна я

доброй судьбе.

Я живу, как желаю, - сама по себе.

Бог ко мне справедлив

и любезен издатель.

Старый пес мой

взмывает к щеке, как щенок.

И широк дивный выбор всевышних щедрот:

ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.

Это старый товарищ ко мне приезжал.

Зря боялась - а вдруг он дороги не сыщет?

Говорила: когда тебя вижу, Булат,

два зрачка от чрезмерности зренья болят,

беспорядок любви в моем разуме свищет".

Странный гость засмеялся.

Он знал, что я лгу.

Не бывало саней в этом сиром снегу.

Мой товарищ с товарищем

пьет в Ленинграде.

И давно уж собака моя умерла -

стало меньше дыханьем в груди у меня.

И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: "Вы несчастны

теперь".

В это время открылась закрытая дверь.

Снег все падал и падал, не зная убытка.

Сколь вошедшего облик был смел и пригоже

И влекла петербургская кожа калош

след - лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,

как во мраке лица серебрился зрачок,

как был рус африканец и смугл россиянин?

Я подумала - скоро конец февралю -

и сказала вошедшему: "Радость! Люблю!

Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!"

23

1

Белла Ахмадуллина "Сны о Грузии"

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:

а вдруг и впрямь, по логике наитья,

заведомо безнравственно дитя,

рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей

на пир созвал всех алчущих, как тонок

был плач того, кто между двух огней

еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,

еще в ходьбе не сведущий козленок,

он выжил и присвоил первый вздох,

изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми

дитя твое цветочным млеком меда,

в его опрятной маленькой крови

живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,

не знает организм непросвещенный,

что ненасытно, сладко, горячо

вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват

в религиях и гибелях далеких.

И принимает он кровавый чад

за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча

он спит в уюте детства и злодейства.

Но и палач, и жертва палача

равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются - смотреть,

какой судьбою в нем взойдет отрава?

Отрадой - умертвить? Иль умереть?

Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,

вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,

вы так бесстрашна нянчите детей,

что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,

не беспокойтесь - малость виновата:

немного растревожена десна

молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,

морозом жути кожу задевая, -

не бойтесь! Это личики детей,

взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,

тот плач звучит в честь выбора другого,

и хрупкость беззащитную свою

оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,

всей музыкой, не объясненной в нотах.

А в общем-то - какие пустяки!

Всего лишь - тридцать тысяч гугенотов.

x x x

Последний день живу я в странном доме,

чужом, как все дома, где я жила.

Загнав зрачки в укрытие ладони,

прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли - беспечность совершенства.

Бела бумага.

Знаю, что должна

Блаженствовать я в этот час блаженства.

Но вновь молчит и бедствует душа.

РИСУНОК

Рисую женщину в лиловом.

Какое благо - рисовать

и не уметь? А ту тетрадь

с полузабытым полусловом

я выброшу! Рука вольна

томиться нетерпеньем новым.

Но эта женщина в лиловом

откуда? И зачем она

ступает по корням еловым

в прекрасном парке давних лет?

И там, где парк впадает в лес,

лесничий ею очарован.

Развязный! Как он смел взглянуть

прилежным взором благосклонным?

Та, в платье нежном и лиловом,

строга и продолжает путь.

Что мне до женщины в лиловом?

Зачем меня тоска берет,

что будет этот детский рот

ничтожным кем-то поцелован?

Зачем мне жизнь ее грустна?

В дому, ей чуждом и суровом,

родимая и вся в лиловом,

кем мне приходится она?

Неужто розовой, в лиловом,

столь не желавшей умирать, -

все ж умереть?

А где тетрадь,

чтоб грусть мою упрочить словом?

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!

Не писать! Даровать ей свободу -

не воспетою быть, нависать

над землей, принимающей воду!

Разве я ей сегодня судья,

чтоб хвалить ее: радость! услада! -

не по чину поставив себя

во главе потрясенного сада!

Разве я ее сплетник и враг,

чтобы, пристально выследив, наспех,

величавые лес и овраг

обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму

быть немым очевидцем природы,

не добавив ни слова к тому,

что объявлено в сводке погоды.

Что за труд - бег руки вдоль стола?

Это отдых, награда за муку,

когда темною тяжестью лба

упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.

И рука моя пишет и пишет.

Навсегда разминулись - гроза

и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удается руке

детским жестом придвинуть тетрадку

и в любви, в беспокойстве, в тоске

все, что есть, описать по порядку.

x x x

А. Н. Корсаковой

Весной, весной, в ее Начале,

я опечалившись жила.

Но там, во мгле моей печали,

о, как я счастлива была,

когда в моем дому любимом

и меж любимыми людьми,

плыл в небеса опасным дымом

избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,

никто не знал, и все равно -

нам, словно замкнутому кругу,

терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,

ты тоже здесь, твой долг высок

в том братстве, где собрат собрата

терзал и пестовал, как мог.

Но в этом трагедийном детстве

Былых и будущих утрат

свершался, словно сон о детстве,

спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,

н жизнь моя была проста,

и Александры Николавны

являлась странность и краса.

Когда я на нее глядела,

я думала: не зря, о, нет,

а для таинственного дела

мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,

и выгоды не сосчитать

затем, что знают наши руки,

как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,

готов и пахнет, и твердят

все губы детские обеты

и яства детские едят.

Не зря средь праздника иль казни,

то огненны, то вдруг черны,

несчастны мы или прекрасны,

и к этому обречены.

x x x

Прощай! Прощай! Со лба сотру

воспоминанье: нежный, влажный

сад, углубленный в красоту,

словно в занятье службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,

двух душ таинственные распри,

и медленный любовный вздох

той жимолости у террасы.

Смотрели, какгонь костра,-

до сна в глазах, до муки дымной,

и созерцание куста

равнялось чтенью книги дивной.

Прощай! Но сколько книг, дерев

нам вверили свою сохранность,

чтоб нашего прощанья гнев

поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, из них,

кто губит души книг и леса.

Претерпим гибель нас двоих

без жалости и интереса.

ПРОЩАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем, как ступить на балкон,

я велю тебе, богово чудо:

пребывай в отчужденье благом!

Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,

постыдись этой детской уловки.

Я-то знаю твой кроткий разбой,

добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,

проболтавшийся баловень пыток,

смертным выдохом ран горловых

я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем

не таращь и предайся блаженству.

Хватит рыскать в рассудке моем

похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,

выпит мед из таинственных амфор.

И по чину ль твоей красоте

примерять украшенье метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил

семицветие белого света,

как голодным тщеславьем твоим

клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, стращаю, кляну,

выхожу на балкон. Озираюсь.

Вижу дерево, море, луну,

их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,

говорю: о, даруй мне пощаду, -

погуби меня, только прости!

И откуда-то слышу: - Прощаю...

x x x

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.

Когда сей миг и прошлое мгновенье

соединятся, будто медь и медь,

их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,

и дом, и сад, чья сильная природа

трудом горы держалась на весу

поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,

я ощущала только страх и вялость

к объему моря, что в ночном окне

мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,

студил затылок холодок мгновенный,

как будто я, превысив чин ума,

посмела фамильярничать с вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон -

не слишком ли? Но оставалась радость,

что, возымев во времени былом

день нынешний, - за все я отыграюсь.

Не наглость ли - при море и луне

их расточать и обмирать от чувства:

они живут воочью, как вчерне

и набело, навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем

мгновеньями? Как долго длится это -

в душе крепчает и взрослеет тень

оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,

чьи правила: смертельный страх и

доблесть, -

блеск бытия изжить, спалить дотла

и выгадать его бессмертный отблеск?

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

В тот день случился праздник на земле.

Для ликованья все ушли из дома,

оставив мне два фонаря во мгле

по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,

что, намертво рожден из алебастра,

над ним то ль нетопырь, то ль херувим

улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недальняя родня -

среди насмешек и неодобренья

он нежно передразнивал меня

значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,

неизлечимо и неугасимо

пульсировала бледная звезда,

чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил

вид полночи. Я заново дивилась

неистовству, с которым на мужчин

и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе

так припекала, что зрачок слезился,

мне так хотелось быть живой, как все,

иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми

не сводничать чернилам и бумаге,

а над великим пустяком любви

бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела - при звезде в окне,

при скорбной лампе, при цветке в стакане.

И безутешно ластилось ко мне

причастий шелестящих пресмыканье.

СЕМЬЯ И БЫТ

Сперва дитя явилось из потемок

небытия.

В наш узкий круг щенок

был приглашен для счастья.

А котенок

не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.

В миг волшебства сама зажглась свеча:

к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,

словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.

Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.

Где ты, грядущий новичок родимый?

Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры

по лестнице - мы отойдем и ждем.

Но все ж и мы не так наги и сиры,

чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!

Ты сам увидишь, как по вечерам

мы возжигаем наш фонарь волшебный.

О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе.

вполне бесстрашном, если я жива,

проговорюсь моей ночной свободе,

как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.

Стареет пес. Сиротствует тетрадь.

И лишь дитя, все больше молодое,

все больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил

от жара лоб, так тихо, что почти -

подумало, дитя сказало: - Ежик,

прости меня, за все меня прости.

И впрямь - прости, любая жизнь живая!

Твою, в упор глядящую звезду

не подведу: смертельно убывая,

вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,

блистая правом жить и ликовать,

блаженность и блаженство сочетая,

и все это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.

Дитя, собака, бледный кот и я

идем во двор и там непревзойденно

свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,

несущим мысль про хлеб и молоко,

что нам пустей, что смехотворней славы?

Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,

и все бегут с учений и работ,

нас осыпает золото улыбок

у станции метро "Аэропорт".

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,

развязный грешник, я взяла себе

и хищно н неопытно владела

углом стола и лампой на столе.

На каторге таинственного дела

о вечности радел петух в селе,

и, пристальная, как монгол в седле,

всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора

между луной и душами зверей,

впадали в длинный воздух коридора,

исторгнутые множеством дверей,

течения полуночного вздора,

что спит в умах людей и словарей,

и пререкались дактиль и хорей -

кто домовой и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,

но ослабел для совершенья сна,

из глуби лбов, как из отверстых амфор,

рассеивалась спертость ремесла.

Обожествляла влюбчивость метафор

простых вещей невзрачные тела.

И постояльца прежнего звала

его тоска, дичавшая за шкафом.

В чем важный смысл чудовищной затеи:

вникать в значенье света на столе,

участвовать, словно в насущном деле,

в судьбе светил, играющих в окне,

и выдержать такую силу в теле,

что тень его внушила шрам стене!

Не знаю. Но еще зачтется мне

бесславный подвиг сотворенья тени.

ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ

Ты, населивший мглу вселенной,

то явно видный, то едва,

огонь невнятный и нетленный

материи иль божества,

ты - ангелы или природа,

спасение или напасть,

что ты ни есть, твоя свобода,

твоя торжественная власть.

Не благодать твою, не почесть,

судьба земли, оставь за мной

лишь этой комнаты непрочность,

ничтожную в судьбе земной.

Зачем с разбега бесприютства

влюбилась я в ее черты

всем разумом-де безрассудства,

всем зрением-де слепоты!

Кровать, два стула ненадежных,

свет лампы, сумерки, графин,

и вид на изгородь продолжен

красой невидимых равнин.

Творилась в этих бедных стенах,

оставшись тайною моей,

печаль пустых, благословенных,

от всех сокрытых зимних дней.

Здесь совмещались стол и локоть,

тетрадь ждала карандаша,

и, провожая мимолетность,

беспечно мучилась душа.

ОПИСАНИЕ БОЛИ

В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ

Сплетенье солнечное - чушь?

Коварный ляпсус астрономов

рассеянных! Мне дик и чужд

недуг светил неосторожных.

Сплетались бы в сторонней мгле!

Но хворым силам мирозданья

угодно бедствовать во мне -

любимом месте их страданья.

Вместившись в спину и в живот,

вблизи наук, чья суть целебна,

болел и бредил небосвод

в ничтожном теле пациента.

Быть может, сдуру, сгоряча

я б умерла в том белом зале,

когда бы моего врача

Газель Евграфовна не звали.

- Газель Евграфовна! - изрек

белейший медик.

О удача!

Улыбки доблестный цветок,

возросший из расщелин плача.

Покуда стетоскоп глазел

на загнанную мышцу страха,

она любила Вас, Газель,

и Вашего отца Евграфа.

Тахикардический буян

морзянкою предкатастрофной

производил всего лишь ямб,

влюбленный ямб четырехстопный.

Он с Вашим именем играл!

Не зря душа моя, как ваза,

изогнута (при чем Евграф!)

под сладкой тяжестью Кавказа.

Простите мне тоску и жуть,

мой хрупкий звездочет, мой лекарь!

Я вам вселенной прихожусь -

чрезмерным множеством молекул.

Не утруждайте нежный ум

обзором тьмы нечистоплотной!

Не стоит бездна скорбных лун

печали Вашей мимолетной.

Трудов моих туманна цель,

но жизнь мою спасет от краха

воспоминанье про Газель,

дитя добрейшего Евграфа.

Судьба моя, за то всегда

благодарю твой добрый гений,

что смеха детская звезда

живет во мгле твоих трагедий.

Лишь в этом смысл - марать тетрадь,

печалиться в канун веселья,

и болью чуждых солнц хворать,

и умирать для их спасенья.

x x x

Случилось так, что двадцати семи

лет от роду мне выпала отрада

жить в замкнутости дома и семьи,

расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,

с которым справедливая природа

следит за увяданием в бору

или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,

не ведать мысли, не промолвить слова

и в детском неразумии дерев

терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,

чиста душой, как прочие растенья,

не более умна, чем дерева,

не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,

в пустой пробел, где близко и приметно

белел во мраке очевидный бог,

имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать

и так близка большая ласка бога,

что прядь со лба-чтоб легче целовать -

я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,

я углублялась в землю и деревья.

Никто не знал, как мука велика

за дверью моего уединенья.

НОчЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,

а все руке недостает отваги,

чтобы пробиться к белизне бумаги

сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой

стыдится своего несовершенства,

не допускает руку до блаженства

затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,

ожог во лбу от выдумки неточной,

мощь кофеина и азарт полночный

легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим

рассудок мой в безумье этих бдений,

раз возбужденье, жаркое, как гений,

он все ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!

Соблазн так сладок, так невинна малость -

нарушить этой ночи безымянность

и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,

любой предмет глядит с кокетством женским,

красуется, следит за каждым жестом,

нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,

бубнит и клянчит голосок предмета,

его душа желает быть воспета,

и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,

любимый свет ее предать огласке

и предоставить неусыпной ласке

эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль - под пыткой немоты

все ж не признаться ни единым словом

в красе всего, на что зрачком суровым

любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна

в пустом дому, средь снежного разлива,

писать не хорошо, но справедливо -

про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом

бумаги, беззащитной предо мною,

пред ясной и бесхитростной свечою,

перед моим, плывущим в сон, лицом.

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега

блистать и стыть с прилежностью металла,

пока пуховой шали не сняла

та девочка, которая мечтала

склонить к плечу оранжевый берет,

пустить на волю локти и колени,

чтоб не ходить, но совершать балет

хожденья по оттаявшей аллее,

пока апрель не затевал возни,

угодной насекомым и растеньям, -

взяв на себя несчастный труд весны,

безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь

сугробов, ледоколов, конькобежцев

он гнев весны претерпевал один,

став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,

как будто смерть предпочитал неволе,

как будто бинт от кожи отрывал,

не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?

То ль сильный дух велел искать исхода,

то ль слабость щитовидной железы

выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды

владеют им. Но говорят преданья,

что, ринувшись на поиски беды, -

как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: - Грешна моя судьба!

Не гений я! И, стало быть, впустую,

гордясь огромной выпуклостью лба,

лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.

Он говорил в отчаянной отваге:

- О господи! Твой худший ученик -

я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.

Он все отринул, что грозит блаженством.

Желал он мукой обострить свой ум,

побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!

Гнушаясь их красою бесполезной,

вбивал он алкоголь и никотин

в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,

сказав: - Как страшно просыпаться утром!

Как жжется этот раскаленный ад,

который именуется уютом!

Он жил в чужом дому, в чужом саду

и, тем платил хозяйке любопытной,

что, голый и огромный, на виду

у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,

шептались меж собой, но не корили

затем, что жутким будням их бытья

он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,

то пил коньяк в гостиных полусвета

и понимал, что это - гонорар

за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,

который он с охотою съедает,

что гостья, умница, искусствовед,

имеет право молвить: - Он страдает!

И он страдал. Об острие угла

разбил он лоб, казня его ничтожность,

но не обрел достоинства ума

и не изведал истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,

он клял дурного мозга неприличье,

и высоко над ним плыл Пастернак

в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек

в проступке суеты и нетерпенья.

Виновен ли немой, что он не мог

использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,

на площадях и на скамьях вокзала.

И, наконец, он головой поник

и так сказал (вернее, я сказала):

- Друзья мои, мне минет тридцать лет,

увы, итог тридцатилетья скуден.

Мой подвиг одиночества нелеп,

и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,

мне лишь одна, не много и не мало:

всегда пребуду только тем, что есть,

пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,

привнесших в кожу белый шрам ожога?

Уверен в том, что мимолетный звук

мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,

судьбе моей воздам благодаренье,

припомню эту бедную весну

и напишу о ней стихотворенье.

x x x

Я думаю: как я была глупа,

когда стыдилась собственного лба -

зачем он так от гения свободен?

Сегодня, став взрослее и трезвей,

хочу обедать посреди друзей.

Лишь их привет мне сладок и угоден.

Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,

лицейскою возвышенностью чувств

пылает мозг в честь праздника простого.

Друзья мои, что так добры ко мне,

должны собраться в маленьком кафе

на площади Восстанья в полшестого.

Я прихожу и вижу: собрались.

Благословляя красоту их лиц,

плач нежности стоит в моей гортани.

Как встарь, моя кружится голова.

Как встарь, звучат прекрасные слова

и пенье очарованной гитары.

Я просыпаюсь и спешу в кафе,

я оставляю шапку в рукаве,

не ведая сомнения пустого.

Я твердо помню мой недавний сон

и стол прошу накрыть на пять персон

на площади Восстанья в полшестого.

Я долго жду и вижу жизнь людей,

которую прибоем площадей

выносит вдруг на мой пустынный остров.

Так мне пришлось присвоить новость встреча

чужие тайны и чужую речь,

борьбу локтей неведомых и острых.

Вошел убийца в сером пиджаке.

Убитый им сидел невдалеке.

Я наблюдала странность их общенья.

Промолвил первый:

- Вот моя рука,

но все ж не пейте столько коньяка -

И встал второй и попросил прощенья.

Я у того, кто встал, спросила:

- Вы

однажды не сносили головы,

неужто с вами что-нибудь случится? -

Он мне сказал:

- Я узник прежних уз.

Дитя мое, я, как тогда, боюсь, -

не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.

Друзья .мои, прекрасен наш союз!

О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.

Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,

заточена, словно мигрень во лбу.

Друзья мои, я требую пощады!

И все ж, пока слагать стихи смогу,

я вот как вам солгу иль не солгу:

они пришли, не ожидая зова,

сказали мне: - Спешат твои часы. -

И были наши помыслы чисты

на площади Восстанья в полшестого.

x x x

Так дурно жить, как я вчера жила, -

в пустом пиру, где все мертвы друг к другу

и пошлости нетрезвая жара

свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах

нести две влажных черноты в глазницах

и пребывать не сведеньем в умах,

а вожделенной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды -

в азартном и злорадном нераденье

следить за увяданием звезды,

втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,

понурить шею среди пекл безводных,

от скудных скверов отвращать лицо,

не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:

без тех, без лучших мыкалась по свету,

а без себя? Не велика печаль!

Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин,

и снова выжить, как это ни сложно,

под доблестной защитою мужчин,

что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,

но хитрой слепотою дальновидной

надеяться, что будет ночь в саду

опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,

чьей выгоде мое спасенье сладко,

коль мне дано по окончанье дня

стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река

готовы выдать тайну вековую,

и с первобытной меткостью рука

привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша

спешит служить и жертвовать длиною.

И так чиста суровая душа,

словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,

всему чужой, иноязыкий идол,

царю во тьме огромностью лица,

которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,

пред новым днем не знаю сожаленья

и медленно стираю прядь со лба

для пущего удобства размышленья.

x x x

Как долго я не высыпалась,

писала медленно, да зря.

Прощай, моя высокопарность!

Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!

А то всю ночь в дыму сижу,

и тяжко тащится мой локоть,

строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,

всплывает в глубине окна

лицо мое, словно чужая

предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,

мне тяжело мое чело,

и все затем, чтоб добрый критик

не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку

и, выбравши любой предлог,

описываю по порядку

все, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею

и опишу одну из сред,

когда меня позвал к обеду

сосед-литературовед.

Он был настолько выше быта

и так воспитан и умен,

что обошла его обида

былых и нынешних времен.

Он обещал мне, что наука,

известная его уму,

откроет мне, какая мука

угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета

открыла дверь в тепло и свет

жена литературоведа,

сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала

их просвещенная семья,

ждала я знака и сигнала,

чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолетно,

я поняла мою вину:

что ж за обед без рифмоплета

и мебели под старину?

Все так и было: стол накрытый

дышал свечами, цвел паркет,

и чужеземец именитый

молчал, покуривая кент.

Литературой мы дышали,

пока хозяин вел нас в зал

и говорил о Мандельштаме,

Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,

и, некрасива, но умна,

познанья тяжкую огромность

делила с ним его жена.

Я думала: "Господь вседобрый!

Прости мне разум, полный тьмы,

вели, чтобы соблазн съедобный

отвлек их мысли и умы.

Скажи им, что пора обедать,

вели им хоть на час забыть

о том, чем им так сладко ведать,

о том, чем мне так страшно быть.

Придвинув спину к их камину,

пока не пробил час поэм,

за Мандельштама и Марину

я отогреюсь и поем.

И, озирая мир кромешный,

используй, боже, власть твою,

чтоб нас простил их прах безгрешный

за то, что нам не быть в раю".

В прощенье мне теплом собрата

повеяло, и со двора

вошла прекрасная собака,

с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.

Я и хозяин пили ром,

нет, я пила, он этим ведал,

н все же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,

она не осквернит уста,

я знала: за лукавство слова

наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,

стал разум мой учить уму,

и я ответила любезно:

"Потом, мой друг, когда умру,

вы мне успеете ответить.

Но как же мне с собою быть?

Ведь перед тем, как мною ведать,

вам следует меня убить".

Мы помирились в воскресенье.

- У нас обед. А что у вас?

- А у меня стихотворенье.

Оно написано как раз.

x x x

Бьют часы, возвестившие осень:

тяжелее, чем в прошлом году,

ударяется яблоко оземь -

столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,

кто твердит, что часы не стоят?

Совершает поступок отважный,

но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной

выраженье любви и родства,

словно ты - не свидетель случайный,

а виновник ее торжества.

СНИМОК

Улыбкой юности и славы

чуть припугнув, но не отторгнув,

от лени или для забавы

так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,

при вечном детстве небосвода,

клянется ей в Оспедалетти

апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,

глядит из кружевного нимба.

И тень ее грядущей муки

защелкнута ловушкой снимка.

С тем - через "ять" - сырым и нежным

апрелем слившись воедино,

как в янтаре окаменевшем,

она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай

застанет на исходе века

тот профиль нежно-угловатый,

вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,

в чьем четком облике и лике

прочесть известие о даре

так просто, как названье книги.

Кто эту горестную мету,

оттиснутую без помарок,

и этот лоб, и челку эту

себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?

Пожмет плечами, как угодно!

и выведет: Оспедалетти.

Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!

Грядущий день, дай ей отсрочку!

Пускай она допишет: "Анна

Ахматова", - и капнет точку.

x x x

Опять сентябрь, как тьму времен назад,

и к вечеру мужает юный холод.

Я в таинствах подозреваю сад:

все кажется - там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,

что призраком населена округа.

Я в доброте моих осенних дней

ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль

списать в тетрадь - с последнею росою

траву и воздух, в зримую спираль

закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,

воспринятое некогда луною,

проделало обратный путь лучей

и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,

свободен с обожаньем иль укором

иных людей, иные времена

оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе

так мучат нас ее пустые камни?

О, знаю я, кто пристальней, чем все,

ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,

для вечности в окне оставив щелку.

И Пушкина неотвратимый взгляд

ночь напролет мне припекает щеку.

ЭТО Я...

Это я - в два часа пополудни

Повитухой добытый трофей.

Надо мною играют на лютне.

Мне щекотно от палочек фей.

Лишь расплыв золотистого цвета

понимает душа - это я

в знойный день довоенного лета

озираю красу бытия.

"Буря мглою...", и баюшки-баю,

я повадилась жить, но, увы, -

это я от войны погибаю

под угрюмым присмотром Уфы.

Как белеют зима и больница!

Замечаю, что не умерла.

В облаках неразборчивы лица

тех, кто умерли вместо меня.

С непригожим голубеньким ликом,

еле выпростав тело из мук,

это я в предвкушенье великом

слышу нечто, что меньше, чем звук.

Лишь потом оценю я привычку

слушать вечную, точно прибой,

безымянных вещей перекличку

с именующей вещи душой.

Это я - мой наряд фиолетов,

я надменна, юна и толста,

но к предсмертной улыбке поэтов

я уже приучила уста.

Словно дрожь между сердцем и сердцем,

есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством

обвести ее вязью пера.

- Быть словам женихом и невестой! -

это я говорю и смеюсь.

Как священник в глуши деревенской,

я венчаю их тайный союз.

Вот зачем мимолетные феи

осыпали свой шепот и смех.

Лбом и певческим выгибом шеи,

о, как я не похожа на всех.

Я люблю эту мету несходства,

и, за дальней добычей спеша,

юной гончей мой почерк несется,

вот настиг - и озябла душа.

Это я проклинаю и плачу.

Пусть бумага пребудет бела.

Мне с небес диктовали задачу -

я ее разрешить не смогла.

Я измучила упряжью шею.

Как другие плетут письмена -

я не знаю, нет сил, не умею,

не могу, отпустите меня.

Это я - человек-невеличка,

всем, кто есть, прихожусь близнецом,

сплю, покуда идет электричка,

пав на сумку невзрачным лицом.

Мне не выпало лишней удачи,

слава богу, не выпало мне

быть заслуженней или богаче

всех соседей моих по земле.

Плоть от плоти сограждан усталых,

хорошо, что в их длинном строю

в магазинах, в кино, на вокзалах

я последнею в кассу стою -

позади паренька удалого

и старухи в пуховом платке,

слившись с ними, как слово и слово

на моем и на их языке.

x x x

Что за мгновенье! Родное дитя

дальше от сердца,

чем этот обычай:

красться к столу

сквозь чащобу житья,

зренье возжечь

и следить за добычей.

От неусыпной засады моей

не упасется ни то и ни это.

Пав неминуемой рысью

с ветвей,

вцепится слово

в загривок предмета.

Эй, в небесах!

Как ты любишь меня!

И, заточенный

в чернильную склянку,

образ вселенной глядит

из темна,

муча меня, как сокровище скрягу.

Так говорю я и знаю, что лгу.

Необитаема высь надо мною.

Гаснут два фосфорных пекла

во лбу.

Лютый младенец

кричит за стеною.

Спал, присосавшись

к сладчайшему сну,

ухом не вел, а почуял измену.

Все - лишь ему,

ничего - ремеслу,

быть по сему,

и перечить не смею.

Мне - только маленькой

гибели звук:

это чернил перезревшая влага

вышибла пробку.

Бессмысленный круг

букв нерожденных

приемлет бумага.

Властвуй, исчадие крови моей!

Если жива -

значит, я недалече.

Что же, не хуже других матерей

я - погубившая детище речи.

Чем я плачу за улыбку твою,

я любопытству людей

не отвечу.

Лишь содрогнусь

и глаза притворю,

если лицо мое

в зеркале встречу.

x x x

В той тоске, на какую способен

человек, озираясь с утра

в понедельник, зимою

спросонок,

в том же месте судьбы,

что вчера...

Он-то думал,

что некий гроссмейстер,

населивший пустой небосвод,

его спящую душу заметит

и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь

сновидений,

ход светил и раздор государств

не внесли никаких изменений

в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,

он способствует этим тому,

что, болевшая ночью в затылке,

мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,

прежде матери, прежде отца,

оснащенный звездой

и свирелью,

кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом

над бровью,

улыбнулся и скрылся вдали.

Прибежали на крик

к изголовью -

и почтительно прочь отошли.

В понедельник,

в потемках рассвета,

лбом уставясь в осколок стекла,

видит он, что алмазная мета

зажила и быльем поросла.

...В той великой,

с которою слада

не бывает, в тоске - на века,

я брела в направленье детсада

и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.

Возжигатель грядущего дня,

вождь метели,

зачинщик восхода,

что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал

свет безмятежный

и указывал свет или смех,

что еще молодою и нежной

я ступлю на блистающий снег,

что вблизи, за углом поворота,

ждет меня несказанный удел.

Полыхнуло во лбу моем что-то,

и прохожий мне вслед поглядел.

ЛЕРМОНТОВ И ДИТЯ

Под сердцем, говорят. Не знаю.

Не вполне.

Вдруг сердце вознеслось

и взмыло надо мною,

сопутствовало мне стороннею луною,

и муки было в нем не боле, чем в луне.

Но люди говорят, и я так говорю.

Иначе как сказать?

Под сердцем - так под сердцем.

Вот сбылся листопад.

Извечным этим средством

не пренебрег октябрь,

склоняясь к ноябрю.

Я все одна была, иль были мы одни

с тем странником,

чья жизнь все больше оживала.

Совпали блажь ума и надобность журнала -

о Лермонтове я писала в эти дни.

Тот, кто отныне стал значением моим,

кормился ручейком

невзрачным и целебным.

Мне снились по ночам

Васильчиков и Глебов.

Мой исподлобный взгляд

присматривался к ним.

Был город истомлен

бесснежным февралем,

но вскоре снег пошел,

и снега стало много.

В тот день потупил взор

невозмутимый Манго

пред пристальным моим

волшебным фонарем.

Зима еще была сохранна и цела.

А там - уже июль, гроза и поединок.

Мой микроскоп увяз

в двух неприглядных льдинах,

изъятых из глазниц лукавого царя.

Но некто рвался жить,

выпрашивал: "Скорей!"

Томился взаперти и в сердцевине круга.

Успею ль, боже мой,

как брата и как друга,

благословить тебя,

добрейший Шан-Гирей?

Все спуталось во мне. И было все равно -

что Лермонтов,

что тот, кто восходил из мрака.

Я рукопись сдала, когда в сугробах марта

слабело и текло водою серебро.

Вновь близится декабрь к финалу своему.

Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.

Но иногда оно затихнет и тоскует,

и только мне одной известно - по кому.

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю: душа не прочна

и прервется. Но как не заметить,

что не надо, пора не пришла

торопиться, есть время помедлить.

Прежде было - страшусь и спешу:

есмь сегодня, а буду ли снова?

И на казнь посылала свечу

ради тщетного смысла ночного.

Как умна - так никто не умен,

полагала. А снег осыпался.

И остался от этих времен

горб - натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им -

лишь скучая, но не сострадая,

и прошу: тот, кто молод - любим.

А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе

льнет прилив незатейливых истин.

Способ совести избран уже

и теперь от меня независим.

Сам придет этот миг или год:

смысл нечаянный, нега, вершинность...

Только старости недостает.

Остальное уже совершилось.

x x x

...И отстояв за упокой

в осенний день обыкновенный,

вдруг все поймут, что перемены

не совершилось никакой.

Что неоплатные долги

висят на всех, как и висели, -

все те же боли, те же цели,

друзья все те же и враги.

И ни у тех, ни у других

не авилось заботы-

существовали те же счеты,

когда еще он был в живых.

И только женщина одна

под плеск дождя по свежей глине

поймет внезапно, что отныне

необратимо прощена.

АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Ремесло наши души свело,

заклеймило звездой голубою.

Я любила значенье свое

лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша

только тем, что в первейшем сиротстве

бескорыстно умела душа

хлопотать о твоем превосходстве.

Про чело говорила твое:

- Я видала сама, как дымилось

меж бровей золотое тавро,

чье значенье - всевышняя милость.

А про лоб, что взошел надо мной,

говорила: не будет он лучшим!

Не долеплен до пяди седьмой

и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,

пересилю и перелукавлю!

В час расплаты за божью звезду

я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,

похваляясь: мой дар - безусловен,

а второй - он не то, чтобы плох,

он - меньшой, он ни в чем не виновен.

Так положено мне по уму.

Так исполнено будет судьбою.

Только вот что. Когда я умру,

страшно думать, что будет с тобою.

МЕТЕЛЬ

ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,

дочери Елизавета и Анна,

не шелохнуться! О, как еще рано,

как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,

не понукайте мгновенья, покуда

медленный бег неизбежного чуда

сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,

Пущий минует сугробы и льдины.

Елизавета и Анна, едины

миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!

Зверь добродушный, пришелец желанный,

сжалься над Елизаветой и Анной,

выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!

Все вам верну, ничего не отнявши.

Грозно живучее шествие наше

медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,

изнемогая и свет исторгая.

Елизавета и Анна, какая

радость - мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.

Надо ль бедой расплатиться за это?

Или же, Анна и Елизавета,

так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это - ей,

той, чьей свечой мы сейчас осиянны.

Кто это?

Елизаветы и Анны

крик: - Это ель! Это ель! Это ель!

АДА

Что в бедном имени твоем,

что в имени неблагозвучном

далось мне?

Я в слезах при нем

и в страхе неблагополучном.

Оно - лишь звук, но этот звук

мой напряженный слух морочил.

Он возникал - и кисти рук

мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам

с ним даже в сходстве отдаленном.

Слова, я не прощала вам

и вашим гласным удлиненным.

И вот, доверившись концу,

я выкликнула имя это,

чтоб повстречать лицом к лицу

его неведомое эхо.

Оно пришло и у дверей

вспорхнуло детскою рукою.

О имя горечи моей,

что названо еще тобою?

Ведь я звала свою беду,

свою проклятую, родную,

при этом не имев в виду

судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,

не смею ничего нарушить,

с закинутою головой,

чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук

мелки и жалостны приметы.

И то - лишь тезка этих мук,

лишь девочка среди планеты.

Но что же делать с тем, другим

таким же именем, как это?

Ужели всем слезам моим

иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной

затем, что многозначно слово,

навек остался образ твой

по воле совпаденья злого?

Ужель какой-то срок спустя

все по тому же совпаденью

и тень твоя, как бы дитя,

рванется за моею тенью?

И там, в летящих облаках,

останутся, как знак разлуки,

в моих протянутых руках

твои протянутые руки.

x x x

Жила в покое окаянном,

а все ж душа - белым-бела,

и если кто-то океаном

и был - то это я была.

О мой купальщик боязливый,

ты б сам не выплыл - это я

волною нежной и брезгливой

на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!

Как позабыла в той беде,

что стал ты рыбой голубою,

взлелеянной в моей воде!

И повторяют вслед за мною,

и причитают все моря:

о ты, дитя мое родное,

о бедное, прости меня!

x x x

Он поправляет пистолет,

свеча качнулась, продержалась...

Как тяжело он постарел,

как долго это продолжалось.

И мнил он издалека-

там, за пределом постаренья,

знамена своего полка,

сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.

Вчера побрел, побрел далеко

на первый ледоход смотреть,

стоял там долго, одиноко.

Потом направился домой,

шаги тяжелые замедлил

и вдруг заметил, боже мой,

вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось - давным-давно,

гроза, глубокий след ботинка,

ее плечо обведено

оборкой белого батиста.

Зачем она среди весны

о той весне не вспоминала,

стояла просто у стены,

такая жалкая стояла.

И вот непоправимый гром

раздастся, задевая рюмки,

стемнеет, упадут на гроб

жены его большие руки.

Придет его старинный друг,

успевший прочитать в газете.

Для утешенья этих рук

он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,

и глянет он непринужденно,

как на подушке ордена

горят мертво и отчужденно.

МЕТЕЛЬ

Переделкино снег заметал.

Средь белейшей метели не мы ли

говорили, да губы немые

целовали мороз, как металл?

Не к добру в этой зимней ночи

полюбились мы пушкинским бесам.

Не достичь этим медленным бегством

ни крыльца, ни поленьев в печи.

Возносилось к созвездьям и льдам,

ничего еще не означало,

но так нежно, так скорбно звучало:

мы погибнем, погибнем, Эльдар.

Опаляя железную нить,

вдруг сверкнула вдали электричка,

и оттаяла в сердце привычка:

жить на свете, о, только бы жить.

СТРОКА

...Дорога, не скажу, куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,

проигрыватель-вздор какой,

и слышно, как невесть откуда,

из недр стесненных, из-под спуда

корней, сопревших трав и хвой,

где закипает перегной,

вздымая пар до небосвода,

нет, глубже мыслимых глубин,

из пекла, где пекут рубин

и начинается природа, -

исторгнут, близится, и вот

донесся бас земли и вод,

которым молвлено протяжно,

как будто вовсе без труда,

так легкомысленно, так важно:

"...Дорога, не скажу куда..."

Меж нами так не говорят,

нет у людей такого знанья,

ни вымыслом, ни наугад

тому не подыскать названья,

что мы, в невежестве своем,

строкой бессмертной назовем.

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,

насущный день так подходил для пенья,

и четверо, достойных удивленья,

гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых

все бы глядела до скончанья взгляда,

и ни о чем заботиться не надо:

душа вздохнет - и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,

и, уцелев меж бездною и бездной,

для совершенья распри бесполезной

поплыли мы, не ведая - куда.

В молчании достигли мы земли,

до времени сохранные от смерти.

Но что-нибудь да умерло на свете,

когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.

Мои спаслись от этой лютой доли.

Но лоб склоню - и опалит ладони

сиротства высочайший ореол.

Всех вместль, а на меня одну-

пускай падут и буря, и лавина.

Я дивным, пеньем не прельщу дельфина

и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них - не надобно меня.

И проку нет в упреках и обмолвках.

Жаль - челн погиб, и лишь в его обломках

нерасторжимы наши имена.

x x x

Предутренний час драгоценный

спасите, свеча и тетрадь!

В предсмертных потемках за сценой

мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!

Но я лишь однажды не лгу:

бумаге молясь неподкупной

и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,

но буду же наверняка,

мучительно выпростав шею

из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,

никто мне не сможет помочь.

Я знаю, как Грозен мой выбор,

когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любови,

погибну больней и скорей,

коль вслушаюсь в ваши ладони,

сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не восстраждать,

вернуться в родной неуют,

не ведая - дивным иль страшным -

удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,

где будут во все времена

одни лишь собаки и дети

бедней и свободней меня.

x x x

Ю.Королеву

Собрались, завели разговор,

долго длились их важные речи.

Я смотрела на маленький двор,

чудом выживший в Замоскворечьи.

Чтоб красу предыдущих времен

возродить, а пока, исковеркав,

изнывал и бранился ремонт,

исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора:

купол слеп и весь вид не осанист,

но уже по каменьям двора

восхищенный бродил иностранец.

Я сидела, смотрела в окно,

тосковала, что жить не умею.

Слово "скоросшиватель" влекло

разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы,

с невредимой травою зеленой,

с бузиною, затмившей углы,

уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней

и хмельных маляров перебранка

становились надеждой моей,

ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,

объявляю: мой срок не окончен.

Посреди сорока сороков

не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моем

и зазубренный мной без запинки

белокаменный свиток имен

Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камня, жива.

Дождь веков нас омыл и промаслил.

На клею золотого желтка

нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,

уцелею и я, может статься.

Ну, а нет - так придут маляры.

А потом приведут чужестранца.

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.

Он начинался в октябре,

когда зимы кристалл невзрачный

мерцал при утренней заре.

И тот, столь счастливо любивший

печаль и блеск осенних дней,

был зренья моего добычей

и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,

сосед мой умер, и вдова,

для совершенья жизни бренной,

уехала, а дом сдала.

Так появились брат с сестрою.

По вечерам в чужом окне

сияла кроткою звездою

их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве

поврозь мы дождались зимы,

но, с тайным любопытством в сердце,

невольно сообщались мы.

Когда вблизи моей тетради

встречались солнце и сосна,

тропинкой, скрытой в снегопаде,

спешила к станции сестра.

Я полюбила тратить зренье

на этот мимолетный бег,

и длилась целое мгновенье

улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободен и не должен

вставать, пока не встанет день.

"Кто он? - я думала. - Художник?"

А думать дальше было лень.

Всю зиму я жила привычкой

их лица видеть поутру

и знать, с какою электричкой

брат пустится встречать сестру.

Я наблюдала их проказы,

снежки, огни, когда темно,

и знала, что они прекрасны,

а кто они - не все ль равно?

Я вглядывалась в них так остро,

как в глушь иноязычных книг,

и слаще явного знакомства

мне были вымыслы о них.

Их дней цветущие картины

растила я меж сонных век,

сослав их образы в куртины,

в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились - не тесно,

не участив случайность встреч.

Их лица были так чудесно

ясны, так благородна речь.

Мы сиживали в час заката

в саду, где липа и скамья.

Брат без сестры, сестра без брата,

как ими любовалась я!

Я шла домой и до рассвета

зрачок держала на луне.

Когда бы не несчастье это,

была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям

прискучила его жара.

Пришли, и молвил брат: - Мы едем.

- Мы едем, - молвила сестра.

Простились мы - скорей степенно,

чем пылко. Выпили вина.

Они уехали. Стемнело.

Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:

"Коли прогневаетесь Вы,

я не страшусь: мне нет возврата

в соседство с Вами, в дом вдовы.

Зачем, простак недальновидный,

я тронул на снегу Ваш след?

Как будто фосфор ядовитый

в меня вселился - еле видный,

доныне излучает свет

ладонь..." - с печалью деловитой

я поняла, что он - поэт,

и заскучала...

Тем не мене

отвыкшие скрипеть ступени

я поступью моей бужу,

когда в соседний дом хожу,

одна играю в свет и тени

и для таинственной затеи

часы зачем-то завожу

и долго за полночь сижу.

Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе

зайдется ставня. Видно мне,

как ум забытой ими книги

печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.

Вот свет. Вот сумерки легли.

- Но где ж роман? - читатель спросит. -

Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем - все есть! Окрест крепчает

октябрь, и это означает,

что тот, столь счастливо любивший

печаль и блеск осенних дней,

идет дорогою обычной

на жадный зов свечи моей.

Сад облетает первобытный,

и от любви кровопролитной

немеет сердце, и в костры

сгребают листья... Брат сестры,

прощай навеки! Ночью лунной

другой возлюбленный безумный,

чья поступь молодому льду

не тяжела, минует тьму

и к моему подходит дому.

Уж если говорить: люблю! -

то, разумеется, ему,

а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!

Вскричи: - Как, намертво убитый

и прочный, точно лунный свет,

тебя он любит?! -

Вовсе нет.

Хочу соврать и не совру,

как ни мучительна мне правда.

Боюсь, что он влюблен в сестру

стихи слагающего брата.

Я влюблена, она любима,

вот вам сюжета грозный крен.

Ах, я не зря ее ловила

на робком сходстве с Анной Керн!

В час грустных наших посиделок

твержу ему: - Тебя злодей

убил! Ты заново содеян

из жизни, из любви моей!

Коль ты таков - во мглу веков

назад сошлю!

Не отвечает

и думает: - Она стихов

не пишет часом? - и скучает.

Вот так, столетия подряд,

все влюблены мы невпопад,

и странствуют, не совпадая,

два сердца, сирых две ладьи,

ямб ненасытный услаждая

великой горечью любви.

x x x

Как никогда, беспечна и добра,

я вышла в снег арбатского двора,

а там такое было: там светало!

Свет расцветал сиреневым кустом,

и во дворе, недавно столь пустом,

вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,

затылок свой вложил в мою ладонь,

щенки и дети радовались снегу,

в глаза и губы мне попал снежок,

и этот малый случай был смешон,

и все смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву

и думала: чем дольше я живу,

тем проще разум, тем душа свежее.

Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит -

все есть и воспеванью подлежит,

что может быть разумней и священней?

День жизни, как живое существо,

стоит " ждет участья моего,

и воздух дня мне кажется целебным.

Ах, мало той удачи, что - жила,

я совершенно счастлива была

в том переулке, что зовется Хлебным.

x x x

Я вас люблю, красавицы столетий,

за ваш небрежный выпорх из дверей,

за право жить, вдыхая жизнь соцветий

и на плечи накинув смерть зверей.

Как будто мало ямба и хорея

ушло на ваши души и тела,

на каторге чужой любви старея,

о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щеки,

смесь чудную коварства и проказ -

я все воспела, мы теперь в расчете,

последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало.

не знал - поверит, что я жизнь мою,

всю напролет, навытяжку стояла

пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места

не двинуться? Невмочь мне, говорю,

быть тем, что есть, и вожаком семейства,

вобравшего зверье и детвору.

Довольно мне чудовищем бесполым

тому быть братом, этому - сестрой,

то враждовать, то нежничать с глаголом,

пред тем как стать травою и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,

подстрочников и прочего труда

я не хочу! Я делаюсь богата,

неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступясь талантом,

стать оборотнем с розовым зонтом,

с кисейным бантом и под ручку с франтом,

а что есть ямб - знать не хочу о том.

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!

Неведомо простой душе твоей,

какой повадкой и какой усмешкой

владею я - я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это все неправда!

Я знаю вас - вы верите словам.

Неужто я покину вас на франта?

Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,

проноситесь, смеясь и лепеча.

Суть женственности вечно золотая

и для меня - священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,

чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!

Но кто, как я, сумеет встать пред вами?

Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

СОН

Наскучило уже, да и некстати

о знаменитом друге рассуждать.

Не проще ль в деревенской благодати

бесхитростнсать слова в тетрадь-

при бабочках и при окне открытом, пока темно и дети спать легли... О чем, бишь? Да о друге знаменитом. Свирепей дружбы в мире нет любви. Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь, и все о нем и все в укор ему. Любовь моя - вот мой туманный довод. Я не учена вашему уму. Когда б досель была я молодая, все б спорила до расцветанья щек. А слава что? Она - молва худая, но это тем, кто славен, не упрек. О грешной славе рассуждайте сами, а я ленюсь, я молча посижу. Но, чтоб вовек не согласиться с вами, что сделать мне? Я сон вам расскажу. Зачем он был так грозно вероятен? Тому назад лет пять уже иль шесть приснилось мне, что входит мой приятель и говорит: - Страшись. Дурная весть. - О нем? - О нем. - И дик и слабоумен стал разум. Сердце прервалось во .мне. Вошедший строго возвестил: - Он умер. А ты держись. Иди к его жене. - Глаза жены серебряного цвета: зрачок ума и сумрак голубой. Во славу знаменитого поэта мой смертный крик вознесся над землей. Домашние сбежались. Ночь крепчала. Мелькнул сквозняк и погубил свечу. Мой сон прошел, а я еще кричала. Проходит жизнь, а я еще кричу. О, пусть моим необратимым прахом приснюсь себе иль стану наяву - не дай мне бог моих друзей оплакать! Все остальное я переживу. Что мне до тех, кто правы и сердиты? Он жив - и только. Нет за ним вины. Я воспою его. А вы судите. Вам по ночам другие снятся сны. ДОМ И ЛЕС Этот дом увядает, как лес... Но над лесом - присмотр небосвода, и о лесе печется природа, соблюдая его интерес. Краий обморок вечной судьбы- спячка леса при будущем снеге. Этот дом засыпает сильнее и смертельней, чем знают дубы. Лес - на время, а дом - навсегда. В доме призрак-бездельник и нищий, а у леса есть бодрый лесничий там, где высшая мгла и звезда. Так зачем наобум, наугад всуе связывать с осенью леса то, что в доме разыграна пьеса старомодная, как листопад? В этом доме, отцветшем дотла, жизнь былая жила и крепчала, меж висков и в запястьях стучала, молода и бессмертна была. Книга мучила пристальный ум, сердце тяжко по сердцу томилось, пекло совести грозно дымилось и вперялось в ночной потолок. В этом доме, неведомо чьем, старых записей бледные главы признаются, что хочется славы... Ах, я знаю, что лес ни при чем! Просто утром подуло с небес и соринкою, втянутой глазом, залетела в рассеянный разум эта строчка про дом и про лес... Истощился в дому домовой, участь лешего - воля и нега. Лес - ничей, только почвы и неба. Этот дом - на мгновение - мой. Любо мне возвратиться сюда и отпраздновать нежно и скорбно дивный миг, когда живы мы оба: я - на время, а лес - навсегда. x x x Я завидую ей - молодой и худой, как рабы на галере: горячей, чем рабыни в гареме, возжигала зрачок золотой и глядела, как вместе горели две зари по-над невской водой. Это имя, каким назвалась, потому что сама захотела, - нарушенье черты и предела и востока незваная власть, так - на северный край чистотела вдруг - персидской сирени напасть. Но ее и мое имена ли схожи основой кромешной- лишоднажды взглянула с усмешкой- как метелью лицо обмела. Что же было мне делать - посмевшей зваться так, как назвали меня? Я завидую ей - молодой до печали, но до упаданья головою в ладонь, до страданья я завидую ей же - седой в час, когда не прервали свиданья две зари по-над невской водой. Да, как колокол, грузной, седой, с вещим слухом, окликнутым зовом: то ли голосом чьим-то, то ль звоном, излученным звездой и звездой, с этим неописуемым зобом, полным песни, уже неземной. Я завидую ей - меж корней, нищей пленнице рая иль ада. О, когда б я была так богата, что мне прелесть оставшихся дней? Но я знаю, какая расплата за судьбу быть не мною, а ей. ИЗ ЦИКЛА "ЖЕНЩИНЫ И ПОЭТЫ" Так, значит, как вы делаете, друга? Пораньше встав, пока темно-светло, открыв тетрадь, перо берете в руки и пишете? Как, только и всего? Нет, у меня - все хуже, все иначе. Свечу истрачу, взор сошлю в окно, как второгодник, не решив задачи. Меж тем в окне уже светло-темно. Сначала - ночь отчаянья и бденья, потом (вдруг нет?) - неуловимый звук. Тут, впрочем, надо начинать с рожденья, а мне сегодня лень и недосуг. Теперь о тех, чьи детские портреты вперяют в нас неукротимый взгляд: как в рекруты забритые поэты, те стриженые девочки сидят. У, чудища, в которых все нечетко! Указка им - лишь наущенье звезд. Не верьте им, что кружева и челка. Под челкой - лоб. Под кружевами - хвост. И не хотят, а притворятся ловко. Простак любви влюбиться норовит. Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка. Тать мглы ночной, "мне страшно!" говорит. Муж несравненный! Удели ей ада. Терзай, покинь, всю жизнь себя кори. Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо: дай ей страдать - и хлебом не корми! Твоя измена ей сподручней ласки. Не позабудь, прижав ее к груди: все, что ты есть, она предаст огласке на столько лет, сколь есть их впереди. Кто жил на белом свете и мужского был пола, знает, как судьба прочна в нас по утрам: иссохло в горле слово, жить надо снова, ибо ночь прошла. А та, что спит, смыкая пуще веки, - что ей твой ад, когда она в раю? Летит, минуя там, в надзвездном верхе, твой труд, твой долг, твой грех, твою семью. А все ж - пора. Стыдясь, озябнув, мучась, надела прах вчерашнего пера и - прочь, одна, в бесхитростную участь, жить, где жила, где жить опять пора. Те, о которых речь, совсем иначе встречают день. В его начальной тьме, о, их глаза - как рысий фосфор, зрячи, и слышно: бьется сильный пульс в уме. Отважно смотрит! Влюблена в сегодня! Вчерашний день ей не в науку. Ты - здесь щи при чем. Ее душа свободна. Ей весело, что листья так желты. Ей важно, что тоскует звук о звуке. Что ты о ней - ей это все равно. О муке речь. Но в степень этой муки тебе вовек проникнуть не дано. Ты мучил женщин, ты был смел и волен, вчера шутил - не помнишь нынче, с кем. Отныне будешь, славный муж и воин, там, где Лаура, Беатриче, Керн. По октябрю, по болдинской аллее уходит вдаль, слезы не уронив, - нежнее женщин и мужчин вольнее, чтоб заплатить за тех и за других. НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ Сегодня, покуда вы спали, надеюсь, как всадник в дозоре, во тьму я глядела. Я знала, что поздно, куда же я денусь от смерти на сцене, от бренного дела! Безгрешно рукою водить вдоль бумаги. Писать - это втайне молиться о ком-то. Запеть напоказ - провиниться в обмане, а мне не дано это и неохота. И все же для вас я удобство обмана. Я знак, я намек на былое, на Сороть, как будто сохранны Марина и Анна и нерасторжимы словесность и совесть. В гортани моей, неумелой да чистой, жил призвук старинного русского слова. Я призрак двусмысленный и неказистый поэтов, чья жизнь не затеется снова. За это мне выпало нежности столько, что будет смертельней, коль пуще и больше. Сама по себе я немногого стою. Я старый глагол в современной обложке. О, только за то, что душа не лукава и бодрствует, благословляя и мучась, не выбирая, где милость, где кара, на время мне посланы жизнь и живучесть. Но что-то творится меж вами и мною, меж мною и вами, меж всеми, кто живы. Не проще ли нам обойтись тишиною, чтоб губы остались свежи и не лживы? Но коль невозможно, коль вам так угодно, возьмите мой голос, мой голос последний! Вовеки я буду добра и свободна, пока не уйду от вас сколько-то-летней... x x x Ни слова о любви! Но я о ней ни слова, не водятся давно в гортани соловьи. Там пламя посреди пустого небосклона, но даже в ночь луны ни слова о любви! Луну над головой держать я притерпелась для пущего труда, для возбужденья дум. Но в нынешней луне - бессмысленная прелесть, и стелется Арбат пустыней белых дюн. Лепечет о любви сестра-поэт-певунья - вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта. Как зримо возведен из толщи полнолунья чертог для божества, а дверь не заперта. Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара, и одинок вблизи вселенской полыньи. Столь длительной луны над миром не бывало, сейчас она пройдет. Ни слова о любви! Так долго я жила, что сердце притупилось, но выжило в бою с невзгодой бытия, и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть и милость. Те двое под луной - неужто ты и я? ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ О ПУШКИНЕ 1. ОН И ОНА Каков? - Таков: как в Африке, курчав и рус, как здесь, где вы и я, где север. Когда влюблен - опасен, зол в речах. Когда весна - хмур, нездоров, рассеян. Ужасен, если оскорблен. Ревнив. Рожден в Москве. Истоки крови - родом из чуждых пекл, где закипает Нил. Пульс - бешеный. Куда там нильским водам! Гневить не следует: настигнет и убьет. Когда разгневан - страшно смугл и бледен. Когда железом ранен в жизнь, в живот но стонет, не страшится, кротко бредит. В глазах - та странность, что белок белей, чем нужно для зрачка, который светел. Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей, как вольный франт. Вот так ее и встретил в пустой аллее. Какова она? Божественна! Он смотрит (злой, опасный). Собаньская (Ржевусской рождена, но рано вышла замуж, муж - Собаньский, бесхитростен, ничем не знаменит, тих, неказист и надобен для виду. Его собой затмить и заманить со временем случится графу Витту. Об этом после). Двадцать третий год. Одесса. Разом - ссылка и свобода. Раб, обезумев, так бывает горд, как он. Ему - двадцать четыре года. Звать - Каролиной. О, из чаровниц! В ней все темно и сильно, как в природе. Но вот письма французский черновик в моем, почти дословном, переводе. 2. ОН - Ей

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.

Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок

(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу

Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,

но Ваш отъезд к печальному концу

судьбы приравниваю. Сердцу тесно

(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу

(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.

Когда я вижу Вас, я всякий раз

смешон, подавлен, неумен, но верьте

тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,

о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу

легко лететь с небес в угоду февралю,

так мне в угоду вам легко взойти на сцену.

Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове

взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.

Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,

и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь

явиться на помост с больничной простыни.

Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!

О, кто-нибудь, приди и время растяни!

Порани ровой, по острию каната-

плясунья, так пляши, пока не сорвалась. Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо. Так было всякий раз. Так будет в этот раз. Исчерпана до дна пытливыми глазами, на сведенье .ушей я трачу жизнь свою. Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале - Себя не сохраню, его не посрамлю. Измучена гортань кровотеченьем речи, но весел мой прыжок из темноты кулис. В одно лицо людей, все явственней и резче, сливаются черты прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих. Достанет ли их вам для малого блаженства? Не навсегда прошу - пускай на миг, на миг... x x x Потом я вспомню, что была жива, зима была, и падал снег, жара стесняла сердце, влюблена была - в кого? во что? Был дом на Поварской (теперь зовут иначе)... День-деньской, ночь напролет я влюблена была - в кого? во что? В тот дом на Поварской, в пространство, что зовется мастерской художника. Художника дела влекли наружу, в стужу. Я ждала его шагов. Сморкался день в окне. Потом я вспомню, что казался мне труд ожиданья целью бытия, но и тогда соотносила я насущность чудной нежности - с тоской грядущею... А дом на Поварской - с немыслимым и неизбежным днем, когда я буду вспоминать о нем... ДОМ Я вам клянусь: я здесь бывала! Бежала, позабыв дышать. Завидев снежного болвана, вздыхала, замедляла шаг. Непрочный памятник мгновенью, снег рукотворный на снегу, как ты, жива на миг, а верю, что жар весны превозмогу. Бесхитростный прилив народа к витринам - празднество сулил. Уже Никитские ворота разверсты были, снег валил. Какой полет великолепный, как сердце бедное неслось вдоль Мерзляковского - и в Хлебный, сквозняк - навылет, двор - насквозь. В жару предчувствия плохого - поступка до скончанья лет в подъезд, где ветхий лак плафона так трогателен и нелеп. Как опрометчиво, как пылко я в дом влюбилась! Этот дом набит, как детская копилка, судьбой людей, добром и злом. Его жильцов разнообразных, которым не было числа, подвыпивших, поскольку праздник, я близко к сердцу приняла. Какой разгадки разум страждал, подглядывая с добротой неистовую жизнь сограждан, их сложный смысл, их быт простой? Пока таинственная бытность моя в том доме длилась, я его старухам полюбилась по милости житья-бытья. В печальном лифте престарелом мы поднимались, говоря о том, как тяжко старым телом терпеть погоду декабря. В том декабре и в том пространстве душа моя отвергла зло, и все казались мне прекрасны, и быть иначе не могло. Любовь к любимому есть нежность ко всем вблизи и вдалеке. Пульсировала бесконечность в груди, в запястье и в виске. Я шла, ущелья коридоров меня заманивали в глубь чужих печалей, свадеб, вздоров, в плач кошек, в лепет детских губ. Мне - выше, мне - туда, где должен пришелец взмыть под крайний свод, где я была, где жил художник, где ныне я, где он живет. Его диковинные вещи воспитаны, как существа. Глаголет их немое вече о чистой тайне волшебства. Тот, кто собрал их воедино, был не корыстен, не богат. Возвышенная вещь родима душе, как верный пес иль брат. Со свалки времени былого возвращены и спасены, они печально и беззлобно глядят на спешку новизны. О, для раската громового так широко открыт раструба Четыре вещих граммофона во тьме причудливо растут, Я им родня, я погибаю от нежности, когда вхожу,. я так же шею выгибаю и так же голову держу. Я, как они, витиевата, и горла обнажен проем. Звук незапамятного вальса сохранен в голосе моем. Не их ли зов меня окликнул, и не они ль меня влекли очнуться в грозном и великом недоумении любви? Как добр, кто любит, как огромен, как зряч к значенью красоты! Мой город, словно новый город, мне предъявил свои черты. Смуглей великого арапа восходит ночь. За что мне честь - в окно увидеть два Арбата: и тот, что был, и тот, что есть? Лиловой гроздью виснет сумрак. Вот стул-капризник и чудак. Художник мой портрет рисует и смотрит остро, как чужак. Уже считая катастрофой уют, столь полный и смешной, ямб примеряю пятистопный к лицу, что так любимо мной. Я знаю истину простую: любить - вот верный путь к тому, чтоб человечество вплотную приблизить к сердцу и уму. Всегда быть не хитрей, чем дети, не злей, чем дерево в саду, благословляя жизнь на свете заботливей, чем жизнь свою. Так я жила былой зимою. Ночь разрасталась, как сирень, и все играла надо мною печали сильная свирель. Был дом на берегу бульвара. Не только был, но ныне есть. Зачем твержу: я здесь бывала, а не твержу: я ныне здесь? Еще жива, еще любима, все это мне сейчас дано, а кажется, что это было и кончилось давным-давно... ДВА ГЕПАРДА Этот ад, этот сад, этот зоо - там, где лебеди и зоосад, на прицеле всеобщего взора два гепарда, обнявшись, лежат. Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая, сердцем втиснувшись в сердце - века два гепарда лежат. О, какая, два гепарда, какая тоска! Смотрит глаз в золотой, безвоздушный, равный глаз безысходной любви. На потеху толпе простодушной обнялись и лежат, как легли. Прихожу ли я к ним, ухожу ли не слабее с той давней поры их объятье густое, как джунгли, и сплошное, как камень горы. Обнялись - остальное неправда, ни утрат, ни оград, ни преград. Только так, только так, два гепарда, я-то знаю, гепард и гепард. x x x Какое блаженство, что блещут снега, что холод окреп, а с утра моросило, что дико и нежно сверкает фольга на каждом углу и в окне магазина. Пока серпантин, мишура, канитель восходят над скукою прочих имуществ, томительность предновогодних недель терпеть и сносить - что за дивная участь! Какая удача, что тени легли вкруг елок и елей, цветущих повсюду, и вечнозеленая новость любви душе внушена и прибавлена к чуду. Откуда нагрянули нежность и ель, где прежде таились и как сговорились! Как дети, что ждут у заветных дверей, я ждать позабыла, а двери открылись. Какое блаженство, что надо решать, где краше затеплится шарик стеклянный, и только любить, только ель наряжать и созерцать этот мир несказанный... x x x Прохожий, мальчик, что ты? Мимо иди и не смотри мне вслед. Мной тот любим, кем я любима! К тому же знай: мне много лет. Зрачков горячую угрюмость вперять в меня повремени: то смех любви, сверкнув, как юность, позолотил черты мои. Иду... февраль прохладой лечит жар щек... и снегу намело так много... и нескромно блещет красой любви лицо мое. ВОСПОМИНАНИЕ Мне говорят: который год в твоем дому идет ремонт, и, говорят, спешит народ взглянуть на бодрый ход работ. Какая вновь взята Казань и в честь каких побед и ран встает мучительный глазам цветастый азиатский храм? Неужто столько мастеров ты утруждаешь лишь затем, созвав их из чужих сторон, чтоб тень мою свести со стен? Да не любезничай, чудак! Ату ее, гони взашей - из вечной нежности собак, из краткой памяти вещей! Не надо храма на крови! Тень кротко прянет за карниз - а ты ей лакомство скорми, которым угоща крыс. А если в книжный переплет- пусть книги кто-нибудь сожжет. Она опять за свой полет - а ты опять за свой сачок. Не позабудь про дрожь перил: дуб изведи, расплавь металл ам локоть столько говорил, покуда вверх и вниз летал. А если чья-нибудьуша вдруг обо мне тайком всплакнет- пусть в устье снега и дождя вспорхнет сквозь белый потолок. И главное - чтоб ни одной свечи, чтоб ли одной свеча: умеет обернуться мной свеча, горящая в ночи. Не дай, чтоб пялилась свеча в твои зрачки своим зрачком. Вот что еще: убей сверчка! Мне доводилось быть сверчком. Все делай так, как говорю, пока не поздно, говорю, не то устанешь к декабрю и обратишь свой дом в зарю. ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА Не сани летели - телега скрипела, и маленький лес просил подаяния снега у жадных иль нищих небес. Я утром в окно посмотрела: какая невзрачная рань! Мы оба тоскуем смертельно, не выжить нам, брат мой февраль. Бесснежье голодной природы, измучив поля и сады, обычную скудость невзгоды возводит в значенье беды. Зияли надземные недра, светало, а солнце не шло. Взамен плодородного неба висело пустое ничто. Ни жизни иной, ни наживы не надо, и поздно уже. Лишь бедная прибыль снежинки угодна корыстной душе. Вожак беззащитного стада, я знала морщинами лба, что я в эту зиму устала скитаться по пастбищу льда. Звонила начальнику книги, искала окольных путей узнать про возможные сдвиги в судьбе, моих слов и детей. Там - кто-то томился и бегал, твердил: его нет! его нет! Смеркалось, а он все обедал, вкушал свой огромный обед. Да что мне в той книге? Бог с нею! Мой почерк мне скупки и нем. Писать, как хочу, не умею, писать, как умею, - зачем? Стекло голубело, и дивность из пекла антенн и реле проистекала, и длилась, и зримо сбывалась в стекле. Не страшно ли, девочка диктор, над бездной земли и воды одной в мироздании диком нестись, словно лучик звезды? Пока ты скиталась, витала меж башней и зреньем людей, открылась небесная тайна и стала добычей твоей. Явилась в глаза, уцелела, и доблестный твой голосок неоспоримо и смело падение снега предрек. Сказала: грядущею ночью начнется в Москве снегопад. Свою драгоценную ношу на нас облака расточат. Забудет короткая память о муке бесснежной зимы, а снег будет падать и падать, висеть от небес до земли. Он станет счастливым избытком, чрезмерной любовью судьбы, усладою губ и напитком, весною пьянящим сады. Он даст исцеленье болевшим, богатством снабдит бедняка, и в этом блаженстве белейшем сойдутся тетрадь и рука. Простит всех живущих на свете метели вседобрая власть, и будем мы - баловни, дети природы, влюбившейся в нас. Да, именно так все и было. Снег падал и долго был жив. А я - влюблена и любима, и вот моя книга лежит. x x x

Андрею Вознесенскому

За что мне все это?

Февральской теплыни подарки,

поблажки небес:

то прилив, то отлив снегопада.

То гляну в окно:

белизна без единой помарки,

то сумерки выросли,

словно растения сада.

Как этого мало,

и входит мой гость ненаглядный.

Какой ты нарядный,

а мог оборванцем скитаться.

Ты сердцу приходишься братом,

а зренью - наградой.

О, дай мне бедою

с твоею звездой расквитаться.

Я - баловень чей-то, и не остается оружья

ума, когда в дар принимаю

твой дар драгоценный.

Входи, моя радость.

Ну, что же ты медлишь, Андрюша,

в прихожей,

как будто в последних потемках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы,

а ложки - о плошки.

Не слишком ли это?

Нельзя ли поменьше, поплоше?

Боюсь, что так много.

Ненадобно больше, о, боже.

Но ты расточитель,

вот книга в зеленой обложке.

Собрат досточтимый,

люблю твою новую книгу,

еще не читая, лаская ладонями глянец.

Я в нежную зелень проникну

и в суть ее вникну.

Как все зеленеет -

куда ни шагнешь и ни глянешь.

Люблю, что живу,

что сиденье на ветхом диване

гостей неизбывных его обрекло на разруху.

Люблю всех, кто жив.

Только не расставаться давайте,

сквозь слезы смотреть

и нижайше дивиться друг другу.

x x x

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.

- Вам сколько лет? - Ответила:

- Осьмнадцать.

Многоугольник скул, локтей, колен.

Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,

и рыцарский какой-то блеск во взгляде,

и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:

ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала: - Мне осьмнадцать лет.

Меня никто не понимает в доме.

И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! -

И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,

и как добра, и как жадна до боли.

Я улыбаюсь. Знаю, что - давно,

а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно - скорей,

не расточив из времени ни часа,

робеть, не зная прелести своей,

печалиться, не узнавая счастья...

x x x

Сад еще не облетал,

только береза желтела.

"Вот уж и август настал", -

я написать захотела.

"Вот уж и август настал", -

много ль ума в этой строчке, -

мне ль разобраться? На сад

осень влияла все строже.

И самодержец души

там, где исток звездопада,

повелевал: - Не пиши!

Августу славы не надо.

Слитком последней жары

сыщешь эпитет не ты ли,

коль золотые шары,

видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.

Плод упадал переспелый.

Возле меня и стола

день угасал не воспетый.

В прелести действий земных

лишь тишина что-то значит.

Слишком развязно о них

бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,

по багрецу перелеска,

Пушкин, октябрь наступил.

Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал

ночью налитые лужи.

"Вот уж и август настал", -

ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу

следовать вещим капризам.

Но золотится в снегу

августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.

Весело при снегопаде

слышать, как вечный диктант

вдруг достигает тетради...

x x x

Завидна мне извечная привычка

быть женщиной и мужнею женою,

но уж таков присмотр небес за мною,

что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,

в сохранности от всех благополучий,

но обойди твоей опекой жгучей

двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод

и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.

Как все, хотела, и поила грудью,

хотела - медом, а вспоила - ядом.

Непоправима и невероятна

в их лицах мета нашего единства.

Уж коль ворона белой уродится,

не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть - нелепо, а чернеть - не ново,

чернеть - недолго, а белеть - безбрежно.

Все более я пред людьми безгрешна,

все более я пред детьми виновна.

x x x

Я школу Гнесиных люблю,

пока влечет меня прогулка

по снегу, от угла к углу,

вдоль Скатертного переулка.

Дорожка - скатертью, богат

крахмал порфиросной прач.

Моих две тени по бокам-

две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю

за песнь, за превышенье прозы,

за желтый цвет, что ноябрю

предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг

за толщей желтой штукатурки,

что делает согбенный звук

внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел -

где музыка? Душа погасла

для сна, но сон творим душой,

и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком

и не доказана нимало,

что делает тайком, молчком

ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины

она растет прыжком подспудным,

и сны ее совершены

сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю

в ночи, но более при свете,

скользя по утреннему льду,

ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья -

иному подлежа влеченью,

возвышенно бредет дитя

с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,

с недоуменьем обнаружу,

что безбоязненный бемоль

порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,

и надобно доверье к храму,

где чьи-то детские уста

вовеки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,

что, бодрствуя в наш час дремотный,

один вдоль улиц и веков

всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,

когда бела ее ограда

и сладкозвучную ладью

колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна

велит, чтоб вылезли летуньи

и в даль открытого окна

доверчиво глядят певуньи.

Зачем я около стою?

Мы слух на слух не обменяем:

мой - обращен во глубь мою,

к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь - лишь боль и резь,

а кажется - легко, легко ведь...

Сначала - музыка. Но речь

вольна о музыке глаголить.

x x x

У тысячи мужчин, влекомых вдоль Арбата

заботами или бездельем дня,

спросила я: - Скажите, нет ли брата,

меж всеми вами брата для меня?

- Нет брата, - отвечали, - не взыщите. -

Тот пил вино, тот даму провожал.

И каждый прибегал к моей защите

и моему прощенью подлежал.

СТИХОТВОРЕНИЕ,

НАПИСАННОЕ ДАВНЫМ-ДАВНО

Пятнадцать мальчиков,

а может быть, и больше,

а может быть, и меньше, чем пятнадцать,

испуганными голосами мне говорили:

"Пойдем в кино или в музей

изобразительных искусств".

Я отвечала им примерно вот что:

"Мне некогда".

Пятнадцать мальчиков

дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков мне говорили:

"Я никогда тебя не разлюблю".

Я отвечала им примерно вот что:

"Посмотрим".

Пятнадцать мальчиков

теперь живут спокойно.

Они исполнили тяжелую повинность

подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки - иные красивее, чем я,

иные некрасивей.

Пятнадцать мальчиков

преувеличенно свободно,

а подчас злорадно

приветствуют меня при встрече,

приветствуют во мне при встрече

свое освобождение,

нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.

Поставлю я твои подснежники в стакан,

и коренастые их стебли обрастут

серебряными пузырьками.

Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,

и, победив себя, ты будешь говорить

со мной надменно,

как будто победил меня,

а я пойду по улице, по улице...

x x x

Моя машинка - не моя.

Мне подарил ее коллега,

которому она мала,

а мне как раз, но я жалела

ее за то, что человек

обрек ее своим повадкам,

и, сделавшись живей, чем вещь,

она страдала, став подарком.

Скучал и бунтовал зверек,

неприрученный нрав насупив,

и отвергал как лишний слог

высокопарнейший мой суффикс.

Пришелец из судьбы чужой

переиначивал мой почерк,

меня неведомой душой

отяготив, но и упрочив.

Снесла я произвол благой

и сделаюсь судьбой моею -

всегда желать, чтоб мой глагол

был проще, чем сказать умею.

Пока в себе не ощутишь

последней простоты насущность,

слова твои - пустая тишь,

зачем ее слагать и слушать?

Какое слово предпочесть

словам, их грешному излишку -

не знаю, но всего, что есть,

упор и понуканье слышу.

МОСКВА

НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

(Отрывок)

Родитель-хранитель-ревнитель души,

что ластишься чудом и чадом?

Усни, не таращь на луну этажи,

не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин

в ночь первого сильного снега?

(Мой друг, твое имя окликнет с афиш

из отчужденья, как с неба.

То ль скареда-лампа жалеет огня,

то ль так непроглядна погода,

мой друг, твое имя читает меня

и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,

орды угомон и поминки,

блаженная пестрядь, родимая речь -

всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак

в садочке, в калине-малине.

И вдруг ни с того ни с сего, просто так,

в ресницах - слеза по Марине...

x x x

Стихотворения чудный театр,

нежься и кутайся в бархат дремотный.

Я ни при чем, это занят работой

чуждых божеств несравненный талант.

Я лишь простак, что извне приглашен

для сотворенья стороннего действа.

Я не хочу! Но меж звездами где-то

грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,

нам ли решать, что сегодня сыграем?

Глух к наставленьям и недосягаем

в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес -

нас упасти от любви его лютой?

Как помыкает безграмотной лютней

безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,

некого спрашивать: вместо ответа -

мука, когда раздирают отверстья

труб - для рыданья и губ - для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.

Вольно! Прощаюсь с божественным игом.

Вкратце - всей жизнью и смертью - разыгран

стихотворения чудный театр.

ПОБЕДА

В день празднества, в час майского дождя,

в миг соловьиных просьб и повелений,

когда давно уж выросло дитя,

рожденное порой послевоенной,

когда разросся в небе фейерверк,

как взрыв сирени бел, лилов и розов, -

вдруг поглядит в былое человек

и взгляд его становится серьезен.

Есть взгляд такой, такая тень чела -

чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее.

То память о войне, величина

раздумья и догадка - неужели

я видела тот май, что превзошел

иные маи и доныне прочен?

Крик радости в уста, слезу в зрачок

вписал его неимоверный почерк.

На площади, чья древняя краса

краснеет без изъяна и пробела,

исторгнув думу, прянул в небеса

вздох всей земли и всех людей - Победа!

51

24

Белла Ахмадуллина "Сны о Грузии"

АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило все было, как странно.

Луна восходила, и Анна

печалилась и говорила:

- Как странно все это, как мило.

В деревьях вблизи ипподрома -

случайная сень ресторана.

Веселье людей. И природа:

луна, и деревья, и Анна.

Вот мы - соучастники сборищ.

Вот Анна - сообщник природы,

всего, с чем вовеки не споришь,

лишь смотришь - мгновенья и годы.

У трав, у луны, у тумана

и малого нет недостатка.

И я понимаю, что Анна -

явленье того же порядка.

Но, если вблизи ипподрома,

но, если в саду ресторана,

и Анна, хотя и продрогла,

смеется так мило и странно,

я стану резвей и развязней

и вымолвлю тост неизбежный:

- Ах, Анна, я прелести вашей

такой почитатель прилежный.

Позвольте спросить вас: а разве

ваш стих - не такая ж загадка,

как встреча Куры и Арагвы

близ Мцхета во время заката?

Как эти прекрасные реки

слились для иного значенья,

так вашей единственной речи

нерасторжимы теченья.

В ней чудно слова уцелели,

сколь есть их у Грузии милой,

и раньше - до Свети-Цховели,

и дальше - за нашей могилой.

Но, Анна, вот сад ресторана,

веселье вблизи ипподрома,

и слышно, как ржет неустанно

коней неусыпная дрема.

Вы, Анна, - ребенок и витязь,

вы - маленький стебель бесстрашный,

но, Анна, клянитесь, клянитесь,

что прежде вы не были в хашной!

И Анна клялась и смеялась,

смеялась и клятву давала:

- Зарей, затевающей алость,

клянусь, что еще не бывала!

О жизнь, я люблю твою сущность:

луну, и деревья, и Анну,

и Анны смятенье и ужас,

когда подступали к духану.

Слагала душа потаенно

свой шелест, в награду за это

присутствие Галактиона

равнялось избытку рассвета,

не то, чтобы видимо зренью,

но очевидно для сердца,

и слышалось: - Есмь я и рею

вот здесь, у открытого среза

скалы и домов, что нависли

над бездной Куры близ Метехи.

Люблю ваши детские мысли

и ваши простые утехи.

И я помышляла: покуда

соседом той тени не стану,

дай, жизнь, отслужить твое чудо,

ту ночь, и то утро, и Анну...

x x x

Я столько раз была мертва

иль думала, что умираю,

что я безгрешный лист мараю,

когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,

страх поутру, что все сначала.

Но Грузия меня всегда

звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках

и по причине неизвестной,

о, как, когда б вы знали, - как

меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомек -

каким родителем суровым

я брошена на твой порог

подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял

и я ни разу не спросила:

за что дарами осыпал

и мне же говорил "спасибо"?

Какую жизнь ни сотворю

из дней грядущих, из тумана, -

чтоб отслужить любовь твою,

все будет тщетно или мало...

x x x

Помню - как вижу, зрачки затемню

веками, вижу: о, как загорело

все, что растет, и, как песнь, затяну

имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,

Тереком буйствуй в теснине гортани,

ах, я не выговорю - без предтеч

крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,

в предки не взять и родство опровергнуть?

Ваше - во мне, если в почву вошла

косточка, - выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,

чтобы мой голос впотьмах порезвился?

Леса ли оклик услышу, воды ль -

кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и простак,

недосягаемость скороговорки,

помнишь: лягушки в болоте... О, как

мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу

Ушбы надменней. О, вздор альпенштока!

Гмерто, ужель никогда не смогу

высказать то - несказанное что-то?

Только во сне - велика и чиста,

словно снега, разрастаюсь и рею,

сколько хочу, услаждаю уста

речью грузинской, грузинскою речью...

x x x

Я знаю, все будет: архивы, таблицы...

Жила-была Белла... потом умерла...

И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,

где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:

с небес упадал солнцепек проливной,

и не было в городе этом подвала,

где Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.

Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.

Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса

мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие

в другие помянут меня времена.

Спасибо! - Да тщетно: как Шура и Гия,

никто никогда не полюбит меня.

ПУТНИК

Прекрасной медленной дорогой

иду в Алекино (оно

зовет себя: Алекин(),

и дух мой, мерный и здоровый,

мне внове, словно не знаком

и, может быть, не современник

мне тот, по склону, сквозь репейник,

в Алекино за молоком

бредущий путник. Да туда ли,

затем ли, ныне ль он идет,

врисован в луг и небосвод

для чьей-то думы и печали?

Я - лишь сейчас, в сей миг, а он -

всегда: пространства завсегдатай,

подошвами худых сандалий

осуществляет ход времен

вдоль вечности и косогора.

Приняв на лоб припек огня

небесного, он от меня

все дальше и - исчезнет скоро.

Смотрю вослед своей душе,

как в сумерках на убыль света,

отсутствую и брезжу где-то

те ли еще, то ли уже.

И, выпроставшись из артерий,

громоздких пульсов и костей,

вишу, как стайка новостей,

в ночи не принятых антенной.

Мое сознанье растолкав

и заново его туманя

дремотной речью, тетя Маня

протягивает мне стакан

парной и первобытной влаги.

Сижу. Смеркается. Дождит.

Я вновь жива и вновь должник

вдали белеющей бумаги.

Старуха рада, что зятья

убрали сено. Тишь. Беспечность.

Течет, впадая в бесконечность,

журчание житья-бытья.

И снова путник одержимый

вступает в низкую зарю,

и вчуже долго я смотрю

на бег его непостижимый.

Непоправимо сир и жив,

он строго шествует куда-то,

как будто за красу заката

на нем ответственность лежит.

СКАЗКА О ДОЖДЕ

в нескольких эпизодах

с диалогом и хором детей

Е.Евтушенко

1

Со мной с утра не расставался Дождь.

- О, отвяжись! - я говорила грубо.

Он отступал, но преданно и грустно

вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.

Его корила я:

- Стыдись, негодник!

К тебе в слезах взывает огородник!

Иди к цветам!

Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.

Дождь был со мной, забыв про все на свете.

Вокруг меня приплясывали дети,

как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.

Я спряталась за стол, укрытый нишей.

Дождь за окном пристроился, как нищий,

и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека

наказана пощечиною влаги,

но тут же Дождь, в печали и отваге,

омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.

Сырым платком я шею обвязала.

Дождь на моем плече, как обезьяна,

сидел.

И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,

он детским пальцем щекотал мне ухо.

Сгущалась засуха. Все было сухо.

И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,

где строго ждали моего привета,

где над янтарным озером паркета

всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?

Ведь он со мной расстаться не захочет.

Он наследит там. Он ковры замочит.

Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: - Доброта

во мне сильна, но все ж не безгранична.

Тебе ходить со мною неприлично. -

Дождь на меня смотрел, как сирота.

- Ну, черт с тобой, - решила я, - иди!

Какой любовью на меня ты пролит?

Ах, этот странный климат, будь он проклят! -

Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,

которой я не стоила. Однако,

промокшая всей шкурой, как ондатра,

я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,

дышал в затылок жалко и щекотно.

Шаги - глазок - молчание - щеколда.

Я извинилась: - Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?

Он слишком влажный, слишком удлиненный

для комнат.

- Вот как? - молвил удивленный

хозяин, изменившийся в лице.

4

Признаться, я любила этот дом.

В нем свой балет всегда вершила легкость.

О, здесь углы не ушибают локоть,

здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят

шелка хозяйки, затененной шарфом,

и, более всего, плененный шкафом -

мою царевну спящую - хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,

в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.

Но я очнулась. Ритуал приветствий,

как опера, станцован был и спет.

5

Хозяйка дома, честно говоря,

меня бы не любила непременно,

но робость поступить несовременно

чуть-чуть мешала ей, что было зря.

- Как поживаете? (О блеск грозы,

смиренный в тонком горлышке гордячки!)

-Благодарю, - сказала я, - в горячке

я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.

Ведь я хотела, поклонившись слабо,

сказать:

- Живу хоть суетно, но славно,

тем более, что снова вижу вас.)

Она произнесла:

- Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность! -

Вскричали все:

- К огню ее, к огню!

- Когда-нибудь, во времени другом,

на площади, средь музыки и брани,

мы б свидеться могли при барабане,

вскричали б вы:

- В огонь ее, в огонь!

За все! За дождь! За после! За тогда!

За чернокнижье двух зрачков чернейших,

за звуки, с губ, как косточки черешни,

летящие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.

Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!

Лижи мне руки в нежности великой!

Ты - тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

- Ваш несколько причудлив монолог, -

проговорил хозяин уязвленный. -

Но, впрочем, слава поросли зеленой!

Есть прелесть в поколенье молодом.

-Не слушайте меня! Ведь я в бреду! -

просила я. - Все это Дождь наделал.

Он целый день меня казнил, как демон.

Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидала - там, в окне,

мой верный Дождь один стоял и плакал.

В моих глазах двумя слезами плавал

лишь след его, оставшийся во мне.

6

Одна из гостий, протянув бокал,

туманная, как голубь над карнизом,

спросила с неприязнью и капризом:

- Скажите, правда, что ваш муж богат?

- Богат ли он? Не знаю. Не вполне.

Но он богат. Ему легка работа.

Хотите знать один секрет? - Есть что-то

неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдству -

во е была такая откровенность-

он разом обратит любую ценность

в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.

Спасем звезду из тесноты колечка! -

Она кольца мне не дала, конечно,

в недоуменье отранив лицо- И, знаете, еще одна деталь-

меня влечет подохнуть под забором.

(Язык мой так и воспалялся вздором.

О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Все, Дождь, тебе припомнится потом!

Другая гостья, голосом глубоким,

осведомилась:

- Одаренных богом

кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:

-Приходит бог, преласков и превесел,

немножко старомоден, как профессор,

и милостью ваш осеняет лоб.

А далее - летите вверх и вниз,

в кровь разбивая локти и коленки

о снег, о воздух, об углы Кваренги,

о простыни гостиницей больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,

тот острый купол помните?

Представьте -

всей кожей об него!

- Да вы присядьте! -

она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,

творилось что-то новое, родное:

в гостиную впускали кружевное,

серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!

Я все лгала, я поступала дурно!

В тебе, как на губах у стеклодува,

явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,

дитя твое, отлитое так нежно!

Как точен контур, обводящий нечто!

О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой

в отчаянье вселенном и всенощном

над детищем твоим, о, над сыночком

великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.

Я плакала:

- Прости меня! Прости же!

Глаза твои премудры и пречисты!

9

Тут хор детей возник невдалеке:

Наш номер был объявлен.

Уста младенцев. Жуть.

Мы - яблочки от яблонь.

Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.

Мы вас не подведем.

Не зря великолепен

камин, согревший дом.

В лопатках - холод милый

и острия двух крыл.

Нам кожу алюминий,

как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,

нас трогает порой

искусствочко, искусство,

ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность

пустых небес. Ура!

О пошлость, ты не подлость,

ты лишь уют ума.

От боли и от гнева

ты нас спасешь потом.

Целуем, королева,

твой бархатный подол!

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.

Мое плечо вело чужую руку.

Я, как птенца, в ладони грела рюмку.

Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали груда,

над мальчиком, заснувшим спозаранку,

в уста его, в ту алчущую ранку,

отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,

спала пружина музыки согбенной?

Как радуга - в бутоне краски белой?

Как тайный мускул красоты - в лице?

Как в Сашеньке - непробужденный Блок?

Медведица, вы для какой забавы

в детеныше влюбленными зубами

выщелкивали бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:

- Вас лихорадит. Грейтесь у камина. -

Прощай, мой Дождь!

Как весело, как мило

принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!

Вино, лишь ты ни в чем не виновато.

Во мне расщеплен атом винограда,

во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,

привязанный к двум деревам склоненным.

Разъединяй! Не бойся же! Со звоном

меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!

Смотрите - я уже добра, как клоун,

вам в ноги опрокинутый поклоном!

Уж тесно мне средь окон и дверей!

О господи, какая доброта!

Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!

Я вас люблю! Застенчивость калеки

бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?

Обидьте! Не жалейте, обижая!

Вот кожа моя - голая, большая:

как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!

Как небеса, круглы мои объятья.

Мы из одной купели. Все мы братья.

Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

12

Прошел по спинам быстрый холодок.

В тиши раздался страшный крик хозяйки.

И ржавые, оранжевые знаки

вдруг выплыли на белый потолок.

И - хлынул Дождь! Его ловили в таз.

В него впивались веники и щетки.

Он вырывался. Он летел на щеки,

прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.

Звенел, играя с хрусталем воскресшим.

Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,

как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,

паркет марая, полз ко мне на брюхе.

В него мужчины, поднимая брюки,

примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой

и выжимали, брезгуя, в уборной.

Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,

кричала я:

-Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.

О, вашим детям жить в беде и муке!

Слепые, тайн не знающие руки

зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:

- Учти,

еще ответишь ты за эту встречу! -

Я засмеялась:

- Знаю, что отвечу.

Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Пугал прохожих вид моей беды.

Я говорила:

- Ничего. Оставьте.

Пройдет и это. -

На сухом асфальте

я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,

и горизонт вкруг города был розов.

Повергнутое в страх Бюро прогнозов

осадков не сулило никогда.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, - третий день дрожу,

как лошадь, ожидающая бега.

Надменный мой сосед по этажу

и тот вскричал:

- Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг

колеблет стены и сквозит повсюду.

Моих детей он воспаляет дух

и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:

-Я дрожу

все более - без умысла худого.

А впрочем, передайте этажу,

что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,

в мои слова вставлял свои ошибки,

моей ногой приплясывал, мешал

губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,

следил за мной брезгливо, но без фальши.

Его я обнадежила:

- Пролог

вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!

В себе я различала, взглядом скорбным,

мельканье диких и чужих существ,

как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,

вбивала в кожу острые гвоздочки.

Так по осине ударяет дождь,

наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!

Прочь мускулы несутся и резвятся!

Мое же тело, свергнув власть мою,

ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг

оно исчезнет вольно и опасно,

как ускользает шар из детских рук

и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.

Врачу

сказала я, хоть перед ним робела:

- Я, знаете, горда и не хочу

сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:

-Ваша болезнь проста.

Она была б и вовсе безобидна,

но ваших колебаний частота

препятствует осмотру - вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет

и велика его движений малость,

он зрительно почти сведен на нет

и выглядит, как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор

к моим предметам неопределенным,

и острый электрический прибой

охолодил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!

Взыграла ртуть в неистовом подскоке!

Последовал предсмертный всплеск стекла,

и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!

Но он, не озадаченный нимало,

провозгласил:

- Ваш бедный организм

сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама

свою причастность к этой высшей норме.

Не умещаясь в узости ума,

плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств

наученная, нервная система,

пробившись, как пружины сквозь матрац,

рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс

всегда гудел, всегда хотел на волю.

В конце концов казалось: к черту! Пусть

им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам - мозг навострится, ждет.

Слух так открыт, так взвинчен тишиною,

что скрипнет дверь иль книга упадет,

и - взрыв! и - все! и - кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,

в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.

При мне всегда стоял сквозняк дверей!

При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,

слезы светлела вечная громада.

Я - все собою портила! Я - рай

растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,

и с мудростью, цветущей в человеке,

как музыку по нотным запятым,

ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом

целебным поцелуем валерьяны,

и медицина мятным языком

давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд

он поздравлял меня с выздоровленьем

через своих детей и, говорят,

хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,

ответила на письма. Я гуляю,

особо, с пользой делая круги.

Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня - ни звука, ни души.

И стол мой умер и под пылью скрылся.

Уставили во тьму карандаши

тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,

мой каждый шаг медлителен, стреножен.

Все хорошо! Но по ночам меня

опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,

но зря ему я голову морочу,

ведь все, что он лелеял и лечил,

я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,

спасаюсь слепотой и тишиною,

но, поболев, пощекотав во лбу,

рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,

зову тебя, осыпься! Пусть я сгину,

подрагивая в чистом серебре

русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,

озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!

Я - балерина музыки твоей!

Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о, нет,

сейчас о том не может быть и речи.

Но мой предусмотрительный сосед

уже со мною холоден при встрече.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? - да так, как входят в глушь осин,

для тишины и праздности гулянья, -

не ведая корысти и желанья,

вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.

Когда б он не устал за два столетья

лелеять нежной ветхости соцветья,

он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда

для слабых чаш и хрусталя больного.

Живая подлость возраста иного

была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,

он кротко приготовился к подвоху,

и ненависть, мешающая вздоху,

возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,

и чужеземец, мудростью холодной,

вникал в значенье люстры старомодной

и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,

в былых балах утраченной подвески,

на грех ее обидевшись по-детски,

он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра

влекла старуха из глубин юдоли,

и тяжела была ее ладони

вся невесомость быта и добра.

Какая грусть - средь сумрачных теплиц

разглядывать осеннее предсмертье

чужих вещей, воспитанных при свете

огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,

раздался оклик запаха и цвета:

ко мне взывал и ожидал ответа

невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист

трубил, словно в канун стихосложенья, -

так требует предмет изображенья,

и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.

О плач всего, что хочет быть воспето!

Навзрыд звучит немая просьба эта,

как крик: - Спасите! - грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,

немое горло просьбу излучало.

Я ринулась на зов, и для начала

сказала я: - Не плачь, мое дитя.

-Что вам угодно? - молвил антиквар. -

Здесь все мертво и не способно к плачу. -

Он, все еще надеясь на удачу,

плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу

стояли мы. Я отвечала сухо:

- Мне, ставшею открытой раной слуха,

угодно слышать все, что я хочу.

- Ступайте прочь! - он гневно повторял.

Н вдруг, средь слабоумия сомнений,

в уме моем сверкнул случайно гений

и выпалил: - Подайте тот футляр!

- Тот ларь? - Футляр. - Фонарь? - Футляр!

- Фуляр?

-Помилуйте, футляр из черной кожи. -

Он бледен стал и закричал: - О боже!

Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!

Вы молоды, вы пахнете бензином!

Ступайте к современным магазинам,

где так велик ассортимент пластмасс.

- Как это мило с вашей стороны, -

сказала я, - я не люблю пластмассы.

Он мне польстил: - Вы правы и прекрасны.

Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.

Вот медальон, и в нем портрет ребенка.

Минувший век. Изящная работа.

И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.

Надземный взор. Прилежный лоб и локон.

Гроза в июне. Воспаленье в легком.

И тьма небес, закрывшихся за ним...

- Мне горестей своих не занимать,

а вы хотите мне вручить причину

оплакивать всю жизнь его кончину

и в горе обезумевшую мать?

- Тогда сервиз на двадцать шесть персон! -

воскликнул он, надеждой озаренный. -

В нем сто предметов ценности огромной.

Берите даром - и вопрос решен.

-Какая щедрость и какой сюрприз!

Но двадцать пять моих гостей возможных

всегда в гостях, в бегах неосторожных.

Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?

Помилуй бог, мне не по силам это.

Нет, я ценю единственность предмета,

вы знаете, о чем веду я речь.

-Как я устал! - промолвил антиквар. -

Мне двести лет. Моя душа истлела.

Берите все! Мне все осточертело!

Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо

из мглы сеней, на долю из темницы

явился свет, и опалил ресницы,

и это было женское лицо.

Не по чертам его - по черноте, -

сжегшей ум, по духоте пространства

я вычислила, сколь оно прекрасно,

еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз

лицо ее внушало мысль простую:

утратить разум, кануть в тьму пустую,

просить руки, проситься на Кавказ.

Там - соблазнить ленивого стрелка

сверкающей открытостью затылка,

раз навсегда - и все. Стрельба затихла,

и в небе то ли бог, то ль облака.

-Я молод был сто тридцать лет назад. -

проговорился антиквар печальный. -

Сквозь зелень лиц, по желтизне песчаной

я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,

целуя воздух и каменья сада,

когда проездом - в ад или из ада -

вдруг объявился тот незваный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак

он был в делах, достиг чинов немалых,

но я о том, что правнук Ганнибалов

случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,

он прыгнул в дверь. Вое вмиг переместилось.

Прислуга, как в грозу, перекрестилась.

И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.

Шкаф отвечал разбитою посудой.

Повеяло паленым и простудой.

Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,

склонившись к ней, перемешавшись разом,

он всем опасным африканским рабством

потупился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: - Позвольте, он урод.

Хоть ростом скромен, и на том спасибо.

-Вы думаете? - так она спросила. -

Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь кротость, доброта,

любой совет считал себе приказом.

А уезжая, вольно пыхнул глазом

и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек

в лице ее, в его простом порядке.

Над непосильным подвигом разгадки

трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла

всплывала в ней незрячая улыбка,

она пугалась, будто бы ошибка

лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ,

Я сватался. Она мне отказала.

Не изменив намерений нимало,

я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,

по-моему, зимою, да, зимою,

она скончалась, не послав за мной))

без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,

я ведаю этим ничтожным храмом,

толкую с хамом и торгую хламом,

затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,

что все-таки убит он на дуэли.

- Он не убит, а вы мне надоели, -

сказала я, - хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки

владеть и взять. Поделим то и это.

Мне - суть предмета, вам - краса портрета:

в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: - Я вас не вверг в печаль

признаньем в этих бедах небывалых?

-Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, -

сказала я, - мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,

читатель мой заметит справедливо:

- Все это ложь, изложенная длинно. -

Отвечу я: - Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,

когда б так поступали антиквары,

и жили вещи, как живые твари,

а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем дому!

И звон стекла! И лепет туфель бальных!

И мрак свечей! И правнук Ганнибалов

к сему причастен - судя по всему.

ГЛАВА ИЗ ПОЭМЫ

I

Начну издалека, не здесь, а там,

начну с конца, но он и есть начало.

Был мир как мир. И это означало

все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, -

так невелик и все-таки обширен.

Там, прихотью младенческих ошибок,

все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины

был дом как дом. И это означало,

что женщина в нем головой качала

и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,

и кто-то - мы еще не знали сами -

замаливал один пред небесами

наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом

был он повинен. И земля летела

неосторожно, как она хотела,

пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну -

какая разница? - пред белым светом,

позволив нам не хлопотать об этом,

он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел

возник над миром, около восхода,

толчком заторможенная природа

переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,

врасплох нас наблюдала необъятность,

и наших недостоинств неприглядность

уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те

два мальчика в рубашках полосатых

без робости вступали в палисадник

с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,

но я чужда привычке современной

налаживать контакт несоразмерный,

в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь

смотреть на дом и обращь молитву

дом, на палисадник, на малину-

то имя я не смела произнесть.

Стояла осень, и она была

лишь следствием, но не залогом лета.

Тогда еще никто не знал, что эта

окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,

я шла в деревья, в неизбежность встречи,

в простор его лица, в протяжность речи...

Но рифмовать пред именем твоим?

О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица - только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: "О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал". И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: "Ради бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!". Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: "Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?" - и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи -нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, - с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: "Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди - вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра". От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно: "Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду". Из леса, как из-за кулис актер, он вынес вдруг высокопарность позы, при этом не выгадывая пользы у зрителя - и руки распростер. Он сразу был театром и собой, той древней сценой, где прекрасны речи. Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи уже мерцает фосфор голубой. - О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю - не холодно ли? - вот и все, не боле. Как он играл в единственной той роли всемирной ласки к людям и зверью. Вот так играть свою игру - шутя! всерьез! до слез! навеки! не лукавя! - как он играл, как, молоко лакая, играет с миром зверь или дитя. - Прощайте же! - так петь между людьми не принято. Но так поют у рампы, так завершают монолог той драмы, где речь идет о смерти и любви. Уж занавес! Уж освещает тьму! Еще не все: - Так заходите завтра! - О тон гостеприимного азарта, что ведом лишь грузинам, как ему. Но должен быть такой на свете дом, куда войти - не знаю! невозможно! И потому, навек неосторожно, я не пришла ни завтра, ни потом. Я плакала меж звезд, дерев и дач - после спектакля, в гаснущем партере, над первым предвкушением потери так плачут дети, и велик их плач. II Он утверждал: "Между теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, на детской дудочке играя, живет вселенная вторая и называется - Тифлис". Ожог глазам, рукам - простуда, любовь моя, мой плач - Тифлис! Природы вогнутый карниз, где бог капризный, впав в каприз, над миром примостил то чудо. Возник в моих глазах туман, брала разбег моя ошибка, когда тот город зыбко-зыбко лег полукружьем, как улыбка благословенных уст Тамар. Не знаю, для какой потехи сомкнул он надо мной овал, поцевал, околдовал на жизнь, на смерть и наповал- быть вечным узником Метехи. О, если бы из вод Куры не пить мне! И из вод Арагвы не пить! И сладости отравы не ведать! И лицом в те травы. не падать! И вернуть дары, что ты мне, Грузия, дарила! Но поздно! Уж отпит глоток, и вечен хмель, и видит бог, что сон мой о тебе - глубок, как Алазанская долина. ЛУГ ЗЕЛЕНЫЙ Текст к телевизионному фильму режиссера А. Ремиашвили "Луг зеленый". За кадром читала Б. Ахмадулина. ВСТУПЛЕНИЕ Еще не рассвело во мгле экрана. Как чистый холст, он ждет поры своей. Пустой экран увидеть так же странно, как услыхать безмолвную свирель. Но в честь того, что есть луга с росою, экран зажжется, расцветут холсты. Вся наша жизнь - свиданье с красотою и бесконечный поиск красоты. ГОРОД О зритель, ты бывал в Тбилиси? Там в пору наших холодов цветут растения в теплице проспектов, улиц и садов. Там ты найдешь друзей надежных. Пусть дружба их тебя хранит. Там жил да был один Художник...

Впрочем, дорифмовать мне придется потом, сейчас некогда, потому что Художник - вот он, перед Вами, вон тот, который разговаривает с Девушкой. Потом он пойдет по улице, встретит знакомых, поговорит с ними о том, о сем. Но я знаю, что он все время думает о своей работе и, если заснет, он увидит ее во сне. Это бывает с каждым из нас, только у нас с Вами своя работа, а у Художника - своя. Все, что он видит, так или иначе связано с холстом, который еще не начат. Давайте посмотрим, что происходит с Художником, или в Художнике, пока он не взял в руки кисть...

Девушка уходит, но, разумеется, она скоро вернется. Она очень много значит для нашего Художника, но он пока этого не знает...

...Взгляните на этого незнакомца. Еще раз взгляните. Хорошо, что Вы познакомились, - Вам еще предстоит встретиться...

Этого человека с цветами Вы тоже скоро увидите... Хочу предупредить Вас, что при следующей встрече эти милые, почтенные и вполне реальные тбилисские жители могут показаться Вам несколько странными и причудливыми. Дело в том, что в следующий раз Вы увидите их такими, какими увидит их Художник. Кто знает, какими видят нас художники? А ведь они нас непременно видят, иначе бы мы не узнавали себя или что-то свое в их полотнах, книгах или в кино...

Ну, что ж, художники всегда видят нас, а мы на этот раз будем подглядывать за Художником... МАСТЕРСКАЯ Понаблюдаем за экраном, а холст пусть ждет своей поры, как будто мы в игру играем, и вот Вам правила игры. Поверьте мне, как я Вам верю, И следуйте за мной теперь. Есть тайна за запретной дверью, а мы откроем эту дверь, Войдем в простор чужих владений! Художник наш вот-вот заснет. Вы - зрители его видений, а я в них - Ваш экскурсовод. Заснул Художник. Холст не начат, меж тем идет куда-то он. Что это значит? Это значит, что наш Художник входит в сон. А нам, по волшебству кино, увидеть сон его дано. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ Зеленый луг - всему начало, он - всех, кто есть, и все ж - ничей. И, музыку обозначая, растет цветок-виолончель. Смотрите, глаз не отрывая! Трамвай - по лугу? Вздор какой! Наверно, слышит звон трамвая Художник, спящий в мастерской? Все это - не на самом деле. У сновидений свой закон. Но по проспекту Руставели Вам этот человек знаком. Зачем он здесь - для нас загадка. Мы разгадаем этот кадр. Нет музыки без музыканта и, значит, это - музыкант. Пусть он не видит в этом смысла. Он странен и чудаковат. Он так Художнику приснился и в этом он не виноват. Художник то стоит, то ходит, коль он не хочет рисовать, а музыкант играть не хочет, я перестану рифмовать. Но в чем же смысл, и выход где же? Не верьте! Это пустяки. Рука поэтов пишет реже, чем их душа творит стихи. Порой искусство-это доблесть до времени не взять смычка иль ждать, пока созреет образ, сокрытый в глубине зрачка. ДЕВУШКА Художник смотрит в даль пространства. А истина - близка, проста. Ее лицо вовек прекрасно. В ней - весть любви, в ней - суть холста. Взгляните, сколько красок дивных таит в себе обычный день. Вершат свой вечный поединок Художник и его модель. Их завершенный холст рассудит, мне этот труд не по плечу. Играет этот, тот рисует, Вы смотрите, а я - молчу. Зачем часы? Затем, наверно, что даже в забытья своем мы все во времени живем и слышим: к нам взывает время. Любой - его должник и должен долг времени отдать трудом, и наше назначенье в том, и ты рисуй, рисуй, художник Уже струна от натяженья устала. Музыкант, играй! Прилежный маленький трамвай, трудись, не прерывай движенья! Расчетом суетного жеста не вникнуть в тайну красоты. Неисчислимо совершенство. Художник, опрометчив ты. Ты зря моим речам не внемлешь. Взгляни на Девушку. Она - твое прозрение, и в ней лишь гармония воплощена. Постигло истину простую тех древних зодчих мастерство. Ну, что же, чем сложней раздумье, тем проще вывод из него. Вот наш знакомый. Он, во-первых, - садовник, во-вторых, влюблен, и, значит, в-третьих, он - соперник того, кому приснился он. Не знает он, что это - Муза. Художник ждет ее давно. В нерасторжимость их союза нам всем вмешаться не дано. Как бескорыстная копилка, вбирает сон событья дня. Но в шутке этого конфликта Вы разберетесь без меня. И без меня героям тесно на этом маленьком лугу. Вам не наскучил автор текста? Вот он умолк - и ни гу-гу. ГОРОД Привет Вам! Снова все мы в сборе, но нет ни луга, ни травы. Художник и Садовник в ссоре, зато не в ссоре я и Вы. Надеюсь, Вас не раздражает, что луг сменился мостовой? Любой исконный горожанин во сне вернется в городовой. Чужие сны мы редко смотрим. Пусть это спорно и смешно - мы посмеемся и поспорим, когда окончится кино. А это кто еще со стулом? Пока Художник не заснул, он видел стул. Потом заснул он и вновь увидел тот же стул. И наши с Вами сновиденья порой запутаны, сложны, а сны Художника цветнее, диковинней, чем наши сны. Поэтому, без колебанья, Вас заклинаю, как друзей: завидев в кадре надпись "Баня", Вы ни на миг не верьте ей. Как эпизод ни странен, я бы сказала: суть его проста! Здесь только вывеска - от яви, все остальное-прихоть сна. Когда Художник холст затеял, он видел струны и смычок. Был в памяти его затерян оркестр, печальный, как сверчок. Приснился он совсем не к месту - сверчок, забывший свой шесток. Оплошность мы простим оркестру за то, что музыку исторг. Сомненья лишние отбросьте, не так загадка мудрена, - мы в сне чужом всего лишь гостя и наше дело сторона. Лик. А Художник ищет блика. Бывало ль с Вами то, что с ним? Порой прекрасное так близко, а мы зачем-то вдаль глядим. МОРЕ Погрезим о морском просторе! Там синь, сиянье, там весна. Хоть в сне чужом увидеть море - и то заманчиво весьма. А вот и добрый друг растений, жарой полуденной томим. Он, кажется, и сам растерян, что снится именно таким. Зачем он согласился сняться? Ах, беспокойство, маета! Причем здесь лошадь и возница? И форм античных чистота? СКУЛЬПТУРА Друзья, победа и блаженство! О сновиденья произвола Художник ищет совершенства-- неужто он его нашел? Удел художникам поэта наверно именно таков: у классики просить совета, ответждать от мастеров, Разъятая на части цельность- лишь символ творческих невзгод. Художник ищет драгоценность гармонии - и он найдет. Прекрасный, цельный образ мира взойдет пред ним когда-нибудь. Боюсь, что я Вас утомила. Позвольте мне передохнуть. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ Луг зеленый, чистый дождик... Может, в этом выход твой? Что же ты, наш друг Художник, поникаешь головой? Песенка еще не спета, не закончены труды. Не послушать ли совета неба, дерева, травы? Ты дошел до поворота, от сомнений изнемог. Слушай - вечная природа подает тебе намек. Вникни взглядом просветленным в прелесть женского лица и прочти в листе зеленом тайну нотного листа. ХУДОЖНИК Вы скажете, что не разумен. Мой довод, но сдается мне, что тот, кто наяву рисуетпорой рисует и во сне. Вся эта маленькая повесть- попытка догадаться, как вершит Художник тяжкий поиск и что живет в его зрачках. И вы не будьте слишком строги к тому, что на экран легло. Тем более, что эти строки мне доставались нелегко. Смотрите, если интересно, побудьте без меня сейчас. Не думал вовсе автор текста, что он догадливее Вас. МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА Художник медлит, дело к полдню. Срок сна его почти истек. Я голосом моим наполню его безмолвный монолог. "Я мучался, искал, я страждал собою стать, и все ж не стал. Я спал, но напряженьем страшным я был объят, покуда спал. Отчаявшись и снова веря, я видел луг, и на лугу меня не отпускало время, и я был перед ним в долгу. Хотел я стать светлей и выше всего, чем и недавно был. И снова ничего не вышло. Я холст напрасно погубил". Он самому себе экзамен не сдал. Но все это смешно. Он спит и потому не знает, что это - сон или кино. Он выхода пока не видит. Лежит, упав лицом в траву. Во сне - не вышло. Может, выйдет немного позже, наяву. ДЕВУШКА Мы рассуждаем про искусство. Но речь пойдет и о любви. Иначе было б очень скучно следить за этими людьми. Взгляни внимательней, пристрастней: холсты, луга, стихи, леса - все ж не бессмертней, не прекрасней живого юного лица. Не знаем мы, что будет дальше, что здесь всерьез, а что игра. Но пожелаем им удачи, любви, искусства и добра. ГОРОД

Кажется, на этот раз Художник обрел то, что искал. А что будет с ним в следующий раз, - мы не узнаем, разве что приедем в Тбилиси и придем к нему в мастерскую. Не взыщите, если эта история показалась Вам замысловатой. Так или иначе - она кончается. Но помните - я задолжала Вам одну рифму. О зритель, ты бывал в Тбилиси? Там в пору наших холодов цветут растения в теплице проспектов, улиц и садов. Там ты найдешь друзей надежных. Пусть дружба их тебя хранит. Там жил да был один Художник, который всех благодарит за благосклонное внимание... МОЯ РОДОСЛОВНАЯ ОТ АВТОРА

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несовременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как - если бы это было возможно - страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии - Стопани - была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в "Искре" и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжко терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными - не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы. Любви и Таланта. 1 ...И я спала все прошлые века светло и тихо в глубине природы. В сырой земле, черней черновика, души моей лишь намечались всходы. Прекрасна мысль - их поливать водой! Мой стебек, желающий прибавки, вытягивать магнитною звездой- поторопитесь, прадеды, прабабки! Читатель милый, поиграй со мной! Мы два столетья вспомним в этих играх. Представь себе: стоит к тебе спиной мой дальний предок, непреклонный Игрек. Лицо его пустынно, как пустырь, не улыбнется, слова не проронит. Всех сыновей он по миру пустил, и дочери он монастырь пророчит. Я говорю ему: - Старик дурной! Твой лютый гнев чья доброта поправит? Я б разминуться предпочла с тобой, но все ж ты мне в какой-то мере прадед. В унылой келье дочь губить не смей! Ведь, если ты не сжалишься над нею, как много жизней сгинет вместе с вей, и я тогда родиться не сумею! Он удивлен и говорит: - Чур, чур! Ты кто? Рассейся, слабая туманность! - Я говорю: - Я - нечто. Я - чуть-чуть, грядущей жизни маленькая малость. И нет меня. Но как хочу я быть! Дождусь ли дня, когда мой первый возглас опустошит гортань, чтоб пригубить, о жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух? Возражение Игрека: - Не дождешься, шиш! И в том я клянусь кривым котом, приоткрывшим глаз зловещий, худобой вороны вещей, крылья вскинувшей крестом, жабой, в тине разомлевшей, смертью, тело одолевшей, белизной ее белейшей на кладбище роковом. Примечание автора: Между прочим, я дождусь, в чем торжественно клянусь жизнью вечной, влагой вешней, каждой веточкой расцветшей, зверем, деревом, жуком и высоким животом той прекрасной, первой встречной, женщины добросердечной, полной тайны бесконечной, н красавицы притом. - Помолчи. Я - вечный Игрек. Безрассудна речь твоя, Пусть я изверг, пусть я ирод, я-то - есть, а нет - тебя. И не будет! Как не будет с дочерью моей греха. Как усопших не разбудит восклицанье петуха. Холод мой твой пыл остудит. Не бывать тебе! Ха-ха. 2 Каков мерзавец! Пусть он держит речь. Нет полномочий у его злодейства, чтоб тесноту природы уберечь от новизны грядущего младенца. Пускай договорит он до конца, простак недобрый, так и не прознавший, что уж слетают с отчего крыльца два локотка, двкрылышка прозрачных. Ах, итальянка, девочка, пра-пра- прабабушка! Неправедны, да правы поправшие все правила добра, любви твоей, проступки и забавы. Поникни удрученной головой! Поверь лгуну! Не промедляй сомненья! Не он, а я, я - искуситель твой, затем, что алчу я возникновенья. Спаси меня! Не плачь и не тяни! Отдай себя на эту злую милость! Отсутствуя в таинственной тени, небытием моим я утомилась. И там, в моей дожизни неживой, смертельного я натерпелась страху, пока тебя учил родитель твой: "Не смей! Не знай!" - и по щекам с размаху. На волоске вишу! А вдруг тверда окажется науки той твердыня? И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда. Но, милая, ты знала, что творила, когда в окно, в темно, в полночный сад ты канула давно, неосторожно. А он - так глуп, так мил и так усат, что, право, невозможно... невозможно... Благословляю в райском том саду и дерева, и яблоки, и змия, и ту беду, бог весть в каком году, и грешницу по имени Мария. Да здравствует твой слабый, чистый след и дальновидный подвиг той ошибки! Вернется через полтораста лет к моим губам прилив твоей улыбки. Но беговым суровым облакам не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик - наплачешься. Он вступит в балаган. Он обезьяну купит. Он - шарманщик. Прощай же! Он прощается с тобой, и я прощусь. Прости нас, итальянка! Мне нравится шарманщик молодой. и обезьянка не чужда таланта. Песенка шарманщика: В саду личинка выжить стается. Санта Лючия, мне это нравится! Горсточка мусора- тяжесть кармана. Здравствуйте, музыка и обезьяна! Милая Генуя нянчила мальчика, думала - гения, вышло - шарманщика! Если нас улица петь обязала, пой, моя умница, пой, обезьяна! Сколько народу) Мы с тобой - невидаль. Стража, как воду, ловит нас неводом. Добрые люди, в гуще базарной, ах, как вам любы мы с обезьяной! Хочется мускулам в дали летящие ринуться с музыкой, спрятанной в ящике. Ах, есть причина, всему причина, Са-а-нта-а Лю-у-чия, Санта-а Люч-ия! 3 Уж я не знаю, что его влекло: корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой, но некогда в российское село - ура, ура! - шут прибыл италийский. А кстати, хороша бы я была, когда бы он не прибыл, не прокрался. И солнцем ты, Италия, светла, и морем ты, Италия, прекрасна. Но, будь добра, шарманщику не снись, так властен в нем зов твоего соблазна, так влажен образ твой между ресниц. что он - о, ужас! - в дальний путь собрался. Не отпускай его, земля моя! Будь он неладен, странник одержимый! В конце концов он доведет меня, что я рожусь вне родины родимой. Еще мне только не хватало: ждать себя так долго в нетях нелюдимых, мужчин и женщин стольких утруждать рожденьем предков, мне необходимых, и не рождаться столько лет подряд, - рожусь ли? - все игра орла и решки, - и вот непоправимо, невпопад, в чужой земле, под звуки чуждой речи, вдруг появиться для житья-бытья. Спасибо. Нет. Мне не подходит это. Во-первых, я - тогда уже не я. что очень усложняет суть предмета. Но, если б даже, чтобы стать не мной, а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, - все ж не хочу свершить в земле иной мой первый вдох и мой последний выдох. Там и останусь, где душе моей сулили жизнь, безжизньем истомили и бросили на произвол теней в домарксовом, нематерьяльном мире. Но я шучу. Предупредить решусь: отвергнув бремя немощи досадной, во что бы то ни стало я рожусь в своей земле, в апреле, в день десятый. ...Итак, сто двадцать восемь лет назад в России остается мой шарманщик. 4 Одновременно нужен азиат, что нищенствует где-то и шаманит. Он пригодится только через век. Пока ж - пускай он по задворкам ходит, старье берет или вершит набег, пускай вообще он делает, что хочет. Он в узкоглазом племени своем так узкоглаз, что все давались диву, когда он шел, черно кося зрачком, большой ноздрей принюхиваясь к дыму. Он нищ и г, а все ж ему хвала! Он сыт ничем, живет нигде, но рядом- его меньшой сынок Ахмадулла, как солнышком, сияет желтым задом. Сияй, играй, мой друг Ахмадулла, расти скорей, гляди продолговато. А дальше так пойдут твои дела: твой сын Валей будет отцом Ахата. Ахатовной мне быть наверняка, явиться в мир, как с привязи сорваться, и усеченной полумглой зрачка все ж выразить открытый взор славянства. Вольное изложение татарской песни: Мне скакать, мне в степи озираться, разорять караваны во мгле. Незапамятный дух азиатства тяжело колобродит во мне. Мы в костре угольки шуровали. Как врага, я ловил ее в плен. Как тесно облегли шаровары золотые мечети колен! Быстроту этих глаз, чуть косивших, я, как птиц, целовал на лету. Семью семь ее черных косичек обратил я в одну темноту. В поле - пахарь, а в воинстве - воин будет тот, в ком воскреснет мой прах. Средь живых-прав навеки, кто волен, средь умерших - бессмертен, кто прав. Эге-гей! Эта жизнь неизбывна! Как свежо мне в ее ширине! И ликует, и свищет зазывно, и трясет бородой шурале. 5 Меж тем шарманщик странно поражен лицом рябым, косицею железной: чуть голубой, как сабля из ножон, дворяночкой худой и бесполезной. Бедняжечка, она несла к венцу лба узенького детскую прыщавость, которая была ей так к лицу и за которую ей все прощалось. А далее все шло само собой: сближались лица, упадали руки, и в сумерках губернии глухой старели дети, подрастали внуки. Церквушкой бедной перекрещена, упрощена полями да степями, уже по-русски, ударяя в "а", звучит себе фамилия Стопани. О, старина, начало той семьи - две барышни, чья маленькая повесть печальная осталась там, вдали, где ныне пусто, лишь трава по пояс. То ль итальянца темная печаль, то ль этой жизни мертвенная скудость придали вечный холодок плечам, что шалью не утешить, не окутать. Как матери влюбленная корысть над вашей красотою колдовала! Шарманкой деда вас не укорить, придавлена приданым кладовая. Но ваших уст не украшает смех, и не придать вам радости приданым. Пребудут в мире ваши жизнь и смерть недобрым и таинственным преданьем. Недуг неимоверный, для чего ты озарил своею вспышкой белой не гения просторное чело, а двух детей рассудок неумелый? В какую малость целишь свой прыжок, словно в Помпею слабую - Везувий? Не слишком ли огромен твой ожог для лобика Офелии безумной? Ученые жить скупо да с умом, красавицы с огромными глазами сошли с ума, и милосердный дом их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

"Справка выдана в том..."

О, как гром в этот дом

бьет огнем и метель колесом колесит.

Ранит голову грохот огромный. И в тон

там, внизу, голосят голоски клавесин.

О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел

час полуночи. Льдом заострилась вода.

Остудить моей памяти черный пробел -

дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,

острый остров сиротства замкнув навсегда.

О Наташа, сестра, мне бы лед так помог!

Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,

вкруг себя он вращает людей, города.

Не распутать мне той карусели моток.

Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,

свист зевак, лай собак, а я так молода.

Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!

Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон

в малом горле.

Но ныне беда - позабыта.

Земля утешает их сон

милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.

Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.

Пронзительный русалочий озноб

вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны

томит я возбуждает человека.

В тревоге пред-войны и пред-весны,

в тумане вечереющего века

мерцает лбом симбирский гимназист,

и, ширясь там, меж Волгою и Леной,

тот свежий свет так остросеребрист

и так существенен в судьбе вселенной.

Тем временем Стопани Александр

ведет себя опально и престранно.

Друзей своих он увлекает в сад,

и речь его опасна и пространна.

Он говорит:

- Прекрасен человек,

принявший дар дыхания и зренья.

В его коленях спит грядущий бег

и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед

земных растений, труд ему угоден.

Но все ж он бездыханен, слеп и мертв

до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг

ломает прямизну его коленей

и примеряет шутовской колпак

к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник

смертельно-душной духотою горя

железного мундира воротник,

сомкнувшийся вкруг пушкинского горла.

Но все же он познает торжество

пред вечным правосудием природы.

Уж дерзок он. Стесняет грудь его

желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев

младенчество зеленого побега.

Пусть нашу волю обостряет гнев,

а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду

неточно я передаю стихами,

но точно то, что в этом же году

был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

Всем, кто бунты разжигал, -

всем студентам

(о стыде-то

не подумают),

жидам,

и певцу, что пел свободу,

и глупцу, что быть собою

обязательно желал, -

всем отвечу я, жандарм,

всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок

посягает на порядок

высочайших правд, парадов, -

вольнодумцев неприятных,

а поэтов и подавно, -

я их всех тюрьмой порадую

и засов задвину сам.

В чем клянусь верностью государю

императору

и здоровьем милых дам.

О распущенность природы!

Дети в ней - и те пророки,

красок яркие мазки

возбуждают все мозги.

Ликовала, оживала,

напустила в белый свет

леопарда и жирафа,

Леонардо и Джордано,

все кричит, имеет цвет.

Слава богу, власть жандарма

все, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм

ждал награды, хлеб жевал,

жил неважно, кончил плохо,

не заметила эпоха,

как подох он.

Никто на похороны ни копеечки не дал.)

Знают люди, знают дети:

я - бессмертен. Я - жандарм.

А тебе на этом свете

появиться я не дам.

Каков мерзац! Пусть болтает вздор,

велевают вечность и мгновенность-

земле лететь, вершить глубокий вздох и соблюдать свою закономерность. Как надобно, ведет себя земля уже в пределах нового столетья, и в май маевок бабушка моя несет двух глаз огромные соцветья. Что голосок той девочки твердят, и плечики на что идут войною? Над нею вновь смыкается вердикт: "Виновна ли?" - "Да, тягостно виновна!" По следу брата, веруя ему, она вкусила пыль дорог протяжных, переступала из тюрьмы в тюрьму, привыкла к монотонности присяжных. И скоро уж на мужниных щеках в два солнышка закатится чахотка. Но есть все основания считать: она грустит, а все же ждет чего-то. В какую даль теперь ее везут небыстрые подковы Росинанта? Но по тому, как снег берет на зуб, как любит, чтоб сверкал и расстилался, я узнаю твой облик, россиянка. В глазах черно от белого сиянья! Как холодно! Как лошади несут! Выходит. Вдруг - мороз ей нов и чужд. Сугробов белолобые телята к ладоням льнут. Младенческая чушь смешит уста. И нежно и чуть-чуть в ней в полщеки проглянет итальянка, и в чистой мгле ее лица таятся движения неведомых причуд. Все ждет. И ей-то страшно, то смешно. И похудела. Смотрит остроносо куда-то ввысь. Лицо усложнено всезнающей улыбкой астронома! В ней сильный пульс играет вкось и вкривь. Ей все нужней, все тяжелей работа. Мне кажется, что скоро грянет крик доселе неизвестного ребенка. 9 Грянь и ты, месяц первый, Октябрь, на твоем повороте мгновенном электричеством бьет по локтям острый угол меж веком и веком. Узнаю изначальный твой гул, оглашающий древние оводы, по огромной округлости губ, называющих имя Свободы. О, три слога! Рев сильных широт отворенной гортани! Как в красных и предельных объемах шаров - тесно воздуху в трех этих гласных. Грянь же, грянь, новорожденный крик той Свободы! Навеки и разом - распахни треугольный тупик, образованный каменным рабством. Подари отпущение мук тем, что бились о стены и гибли, - там, в Михайловском, замкнутом в круг, там, в просторно-угрюмом Египте. Дай, Свобода, высокий твой верх видеть, знать в небосводе затихшем, как бредущий в степи человек близость звезд ощущает затылком. Приближай свою ласку к земле, совершающей дивную дивность, навсегда предрешившей во мне свою боль, и любовь, и родимость. 10 Ну что ж. Уже все ближе, все верней расчет, что попаду я в эту повесть, конечно, если появиться в ней мне Игрека не помешает пропек. Все непременным чередом идет, двадцатый век наводит свой порядок, подрагивает, словно самолет, предслыша небо серебром лопаток. А та, что перламутровым белком глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно, ступившая, как дети на балкон, на край любви, на острие пространства, та, над которой в горлышко, как в горн, дудит апрель, насытивший скворешник, - нацеленный в меня, прости ей, гром! - она мне мать, и перемен скорейших ей предстоит удача и печаль. А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа, спеши вперед и понукай педаль открывшего крыла велосипеда. Пусть роль свою сыграет азиат - он белокур, как белая ворона, как гончую, его влечет азарт по следу, вдаль, и точно в те ворота, где ждут его, где воспринять должны двух острых скул опасность и подарок. Округлое дитя из тишины появится, как слово из помарок. 11 Я - скоро. Но покуда нет меня. Я - где-то там, в преддверии природы. Вот-вот окликнут, разрешат - и я с готовностью возникну на пороге. Я жду рожденья, я спешу теперь, как посетитель в тягостной приемной, пробить бюрократическую дверь всем телом - и предстать в ее проеме. Ужо рожусь! Еще не рождена. Еще не пала вещая щеколда. Никто не знает, что я - вот она, темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно. Вот так играют дети, прячась в шкаф, испытывая радость отдаленья. Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак вдруг вывалюсь вам всем на удивленье! Таюсь, тянусь, претерпеваю рост, вломлюсь птенцом горячим, косоротым - ловить губами воздух, словно гроздь, наполненную спелым кислородом. Сравнится ль бледный холодок актрис, трепещущих, что славы не добьются, с моим волненьем среди тех кулис, в потемках, за минуту до дебюта! Еще не знает речи голос мой, еще не сбылся в легких вздох голодный. Мир наблюдает смутной белизной, сурово излучаемой галеркой. (Как я смогу, как я сыграю роль усильем безрассудства молодого? О, перейти, превозмогая боль, от немоты к началу монолога! Как стеклодув, чьи сильные уста взрастили дивный плод стекла простого, играть и знать, что жизнь твоя проста и выдох твой имеет форму слова. Иль как печник, что, краснотою труб замаранный, сидит верхом на доме, захохотать и ощутить свой труд блаженною усталостью ладони. Так пусть же грянет тот театр, тот бой меж "да" и "нет", небытием и бытом, где человек обязан быть собой и каждым нерожденным и убитым. Своим добром он возместит земле всех сыновей ее, в ней погребенных. Вершит всевечный свой восход во мгле огромный, голый, золотой Ребенок.) Уж выход мой! Мурашками, спиной предчувствую прыжок свой на арену. Уже объявлен год тридцать седьмой. Сейчас, сейчас - дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,

еще не девочка, не мальчик,

ничто, чужого пустяка

пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,

ты шлешь сигналы пробужденья?

Повремени и не родись,

не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,

закрученный кривой пружинкой,

о, образумься и очнись!

Я - умник, много лет проживший, -

я говорю: потом, потом

тебе родиться будет лучше.

А не родишься - что же, в том

все ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,

утешься беззаботной ленью,

блаженной слепотой котят,

столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,

и, как птенец в тюрьме скорлупок,

ты спешку точек и тире

все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там - во тьме пустой,

где нет тебе ни слез, ни горя?

Куда ты так спешишь? Постой!

Родится что-нибудь другое.

Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть

родится тоже непременно, -

всей музыкой озвучен пульс,

прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред

ему пройти и стать собою?

Что ж, он займет весь белый свет

своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,

которого я жду веками,

неужто он до дна допьет

один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать

своими? Все наглей, все дальше

они там будут жить, гулять

и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,

в глаза глядящий так тревожно,

чужою властью новых рук

ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?

Сам там сиди. Довольно. Дудки.

Наскучив мной, меня в простор

выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы

расцветшее, нацелясь мною,

меня спускают с тетивы

стрелою с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь

меня из круга вырвать хочет.

О Жизнь, в твою орбиту вник

меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот

так призывает к полнокровью,

словно сладчайший огород,

красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай

потом накажешь всем и смертью,

но только выуди, поймай,

достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет -

одну-единственную пользу!

- Припомнишь, дура, мой совет

когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,

откуда нет освобожденья?

Ведь более удачный год

ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,

вне гнева века или ветра -

не стать. И не принять лицо,

талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, средь всех затей,

любой наш год - утешен, обнадежен

неистовым рождением детей,

мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рев,

захлебом насыщая древний голод,

гортань прорезав чистым острием,

вонзился мой, сжегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,

земля меня исторгшая, родная,

в печаль и в радость, и в трубу трубя,

н в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,

что празднует в ней вечная повадка -

топырить корни, ставить дерева

и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,

а пред концом - воздам благодаренье

всем девочкам, слетающим с крыльца,

всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?

Я не знаю, я одобрена вами

иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной

ваши лица и ваши слова.

Написала все это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения - 1937. Место

рождения -

город Москва.

\* ПЕРЕВОДЫ \*

Николоз Бараташвили

МЕРАНИ

Мчится Конь - без дорог, отвергая дорогу любую.

Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.

Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!

С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость

страстная -

Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.

Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия.

Не жалей, не щади твоего безрассудного всадника!

Пусть отчизну покину, лишу себя друга и сверстника,

Не увижу родных и любимую, сладкоречивую, -

Но и в небе чужбины звезда моей родины светится,

Только ей я поведаю тайну страдания чистую!

Все, что в сердце осталось, - влеку я во мглу голубую,

Все, что в разуме живо, - безумному бегу дарую!

С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Мчись, Мерами, пока не паду я на землю сырую!

Пусть не ведать мне ласки родного кладбища пустынного,

Тени предков со мной не поделятся миром и славою!

Черный ворон мне роет могилу средь поля постылого.

И останки костей моих будут для вихря забавою.

Не сойдутся родные - простить мне грехи и провинности,

Не заплачет любимая - крикнут голодные коршуны!

Мчись, Мерани, вперед, за пределы судьбы меня вынеси,

Не бывал я покорным и впредь не узнаю покорности!

Пусть отвергнутый всеми и проклятый всеми, умру я.

Враг судьбы - презираю разящую силу слепую!

Мчись, Мерани, пока не упал я на землю сырую!

С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!

Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой над

пропастью.

Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую. Мерани мой,

Мы полет затевали, гнушаясь расчетом и робостью!

Мчится Конь - без дорог, отвергая дорогу любую.

Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.

Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!

С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Галактион Табидзе

ПОЭЗИЯ-ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О друзья, лишь поэзия прежде, чем вы,

прежде времени, прежде меня самого,

прежде первой любви, прежде первой травы,

прежде первого снега и прежде всего.

Наши души белеют белее, чем снег.

Занимается день у окна моего,

л приходит поэзия прежде, чем свет,

прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?

Лишь последнего жду я венка твоего,

и уже заклинанья срываются с губ:

Жизнь, и Смерть, и Поэзия - прежде всего.

ТЕБЕ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

Тебе тринадцать лет. О старость этих

двух рук моих! О добрый мир земной,

где детские уста всех арифметик

тринадцать раз смеются надо мной!

Я путаюсь в тринадцати решеньях -

как весело! Как голова седа!

Тринадцать пуль отлей мне, оружейник,

н столько ж раз я погублю себя.

О девочка, ребенок с детским жестом,

привставшая над голубым мячом,

как смело ты владеешь вечно женским

и мудрым от рождения плечом.

Я возведен - о точность построенья! -

причудой несчастливого числа

в тринадцатую степень постаренья.

О, как, шутник, твоя слеза чиста!

ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО

Опять смеркается, и надо,

пока не смерклось и светло,

следить за увяданьем сада

сквозь запотевшее окно.

Давно ли, приминая гравий,

я здесь бродил, и на виду,

словно букет меж чистых граней,

стояло дерево в цвету.

Как иноземная царевна,

казало странные черты,

и пахли горько и целебно

им оброненные цветы.

Его плодов румяный сахар

я собирал между ветвей.

Оно смеялось - добрый знахарь

той детской радости моей.

И все затем, чтоб днем печальным

смотреть немея, не дыша,

как в легком выдохе прощальном

возносится его душа.

И - все охвачено верченьем,

круженьем, и в глазах темно.

Как будто в небе предвечернем,

в саду моем красным-красно.

Сиротства огненный оттенок

ложится на лицо и грудь,

обозначается на стенах

в кирпич окрашенная грусть.

Я сам, как дерево седое,

внутри оранжевой каймы

над пламенем .и над водою

стою в предчувствии зимы.

МЕРИ

Венчалась Мери в ночь дождей,

и в ночь дождей я проклял Мори.

Не мог я отворить дверей,

восставших между мной и ей,

и я поцеловал те двери.

Я знал - там упадают ниц,

колечком палец награждают.

Послушай! Так кольцуют птиц!

Рабынь так рабством утруждают!

Но я забыл твое лицо!

Твой профиль нежный, твой дикарский,

должно быть, темен, как крыльцо

ненастною порой декабрьской?

И ты, должно быть, на виду

толпы заботливой и праздной

проносишь белую фату,

как будто траур безобразный?

Не хорони меня! Я жив!

Я счастлив! Я любим судьбою!

Как запах приторен, как лжив

всех роз твоих... Но бог с тобою.

Не ведал я, что говорю, -

уже рукою обрученной

и головою обреченной

она склонилась к алтарю.

И не было на них суда -

на две руки, летящих мимо...

О, как я молод был тогда.

Как стар теперь.

Я шел средь дыма,

вкруг дома твоего плутал,

во всякой сомневался вере.

Сто лет прошло. И, как платан,

стою теперь.

Кто знает, Мери,

зачем мне показалось вдруг,

что нищий я? - И в эту осень

я обезумел - перстни с рук

я поснимал и кинул оземь?

Зачем "Могильщика" я пел?

Зачем средь луж огромных плавал?

И холод бедственный терпел,

и "Я и ночь" читал и плакал?

А дождик лил всю ночь и лил

все утро, и во мгле опасной

все плакал я, как старый Лир,

как бедный Лир, как Лир прекрасный.

СНЕГ

Лишь бы жить, лишь бы пальцами трогать,

лишь бы помнить, как подле моста

снег по-женски закидывал локоть,

и была его кожа чиста.

Уважать драгоценную важность

снега, павшего в руки твои,

и нести в себе зимнюю влажность

и такое терпенье любви.

Да уж поздно. О милая! Стыну

и старею.

О взлет наших лиц -

в снегопаданье, в бархат, в пустыню,

как в уют старомодных кулис.

Было ль это? Как чисто, как крупно

снег летит... И, наверно, как встарь,

с январем побрататься нетруо.

Но минуй меня, брат м, январь.

Пролетание и прохожденье-

твой урок я усвоил, зима.

Уводящее в вечность движенье

омывает нас, сводит с ума.

Дорогая, с каким снегопадом

я тебя отпустил в белизну

в синем, синеньком, синеватом

том пальтишке - одну, о одну?

Твоего я не выследил следа

и не выгадал выгоды нам -

я следил расстилание снега,

его склонность к лиловым тонам.

Как подумаю - радуг неровность,

гром небесный, и звезды, и дым -

о, какая нависла огромность

над печальным сердечком твоим.

Но с тех пор, властью всех твоих качеств,

снег целует и губит меня.

О запинок, улыбок, чудачеств

снегопад среди белого дня!

Ты меня не утешишь свободой,

и в великом терпенье любви

всею белой и синей природой

ты ложишься на плечи мои.

Как снежит... И стою я под снегом

на мосту, между двух фонарей,

как под плачем твоим, как под смехом,

как под вечной заботой твоей.

Все играешь, метелишь, хлопочешь.

Сжалься же, наконец, надо мной -

как-нибудь, как угодно, как хочешь,

только дай разминуться с зимой.

ОРЛЫ УСНУЛИ

Вот сказки первые слова:

орлы уснули, как орлята,

и у орлов в часы заката

ко сну клонится голова.

Орлы, прошу вас, не теперь,

нет, не теперь смежайте очи!

Но спите - и огонь средь ночи

походкой женской входит в дверь.

В дверь ваших гор и облаков

кулак оранжевый стучится,

и знает, что беда случится,

семейство прозорливых сов.

Но спите вы, как детвора,

там, в ваших сумерках неверных,

и трубы ваших снов военных

молчат, не говорят: "Пора!"

О пламя, не обидь орла!

Спасутся маленькие птахи,

меж тем, как обгорят на плахе

два величавые крыла.

Но поздно! Перья их на треть

ожог губительный отметил.

Не дай мне бог, как птицам этим,

проснуться, чтобы умереть.

С веселой алчностью орды

плясал пожар, и птиц оравы

влетали, и у вод Арагвы

поникли головой орлы.

"Я видел ворона. Дрожа

от низости, терзал он тело,

что брезговать землей умело

и умерло",-сказал Важа.

СКОРЕЕ - ЗНАМЕНА!

Светает! И огненный шар

раскаленный встает из-за моря...

Скорее - знамена!

Возжаждала воли душа

и, раннею ранью, отвесной тропою,

раненой ланью спеша,

летит к водопою...

Терпеть ей осталось немного.

Скорее - знамена!

Слава тебе, муку принявший

и павший в сражении витязь!

Клич твой над нами витает:

- Идите за мною, за мною!

Светает!

Сомкнитесь, сомкнитесь, сомкнитесь!

Знамена, знамена...

Скорее - знамена!

ПЛАТАНЫ ШИНДИСИ

С чем платаны Шиндиси сравню?

С чем сравню той поры несравненность?

Ее утро, ведущее к дню,

ее детских молитв откровенность?

С чем тебя я сравню, моя мать?

Что ж не брошусь я к скважинам, щелкам,

к окнам, чтобы на миг увидать,

как идешь, как белеешь ты шелком?

О платаны в Шиндиси моем!

Я не понял закона простого -

да, напомнит одно о другом,

но одно не заменит другого.

Так о детстве всерьез и шутя

я заплакал, отверженный странник.

Уж не я, а иное дитя

его новый и милый избранник.

Нет замены вокруг ничему:

ни пичужке порхающей в выси,

ни цветку, ни лицу моему,

ни платанам в далеком Шиндиси.

x x x

Мир состоит из гор,

из неба и лесов,

мир-это только спор

двух детских голосов.

Земля в нем и вода,

вопрос в нем и ответ.

На всякое "о, да!"

доносится "о, нет!".

Среди зеленых трав,

где шествует страда,

как этот мальчик прав,

что говорит "о, да!".

Как девочка права,

что говорит "о, нет!",

и правы все слова,

и полночь, и рассвет.

Так в лепете детей

враждуют "нет" и "да",

как и в душе моей,

как и во всем всегда.

НАТЭЛА ИЗ ЦИНАНДАЛИ

Я птицей был, мне разрешалось,

как в небо, ринуться в силок.

Я ринулся - и все смешалось:

Натэла, Цинандали, жадность

к тебе, о виноградный сок.

Зачем я вырвался, Натэла?

Зачем освободил крыла?

Когда я вышел, ночь светлела,

была уже светлым-светла.

Уже рассветный ветер дунул,

и птиц возникли голоса,

и я о Тинатин подумал

и к небу обратил глаза.

А в небе было звезд так мало,

так нежно было и светло,

там все качалось, уплывало

и повториться не могло...

ИЗ РАССКАЗАННОГО ЛУНОЙ...

К реке подходит маленький олень

и лакомство воды лакает.

Но что ж луна так медлит, так лукавит,

и двинуться ей боязно и лень!

Уль и для нее, как для ме,

дождаться дня и на свету погибнуть-

все ж веселей, чем, не дождавшись дня, вас, небеса грузинские, покинуть. Пока закат и сумерки длинны, я ждал ее - после дневной разлуки, и свет луны, как будто звук луны, я принимал в протянутые руки. Я знал наперечет ее слова, и вот они: - Полночною порою в печали - зла и в нежности - слаба, о Грузия, я становлюсь тобою. И мне, сиявшей меж твоих ветвей, твоих небес отведавшей однажды, о Грузия, без свежести твоей как дальше быть, как не устать от жажды? Нет, никогда границы стран иных не голубели так, не розовели. Никто еще из сыновей земных не плакал так, как плакал Руставели. Еще дитя - он жил в моих ночах, он был мне брат, не как другие братья, и уж смыкались на его плечах прекрасного несчастия объятья. Нет, никогда границы стран иных... - я думала, - и, как сосуд, как ваза с одним цветком средь граней ледяных, сияли подо мной снега Кавказа. Здесь Амирани бедствие терпел, и здесь освобожден был Амирани, и женский голос сетовал и пел, и царственные старцы умирали. ...Так и внимал я лепету луны, и был восход исходом нашей встречи. И вот я объяснил вам эти речи, пока закат " сумерки длинны. x x x Все желтое становится желтей, и радуга семь раз желта над нами, и россыпь драгоценных желудей все копит дуб и нежит меж корнями. Все - в паутине, весело смотреть, как бьется в ней природа пред зимою. Счастлив рыбак, который эту сеть наполнил золотою чешуею. Пока в дубах стозвонный звон стоит и шум летит над буркою Арсена, прикосновеньем осень осенит все то, что было неприкосновенно. x x x

Тициан Табадзе

Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,

для преклоненья колен пред землею,

для восклицанья:

- Прекрасная, здравствуй,

жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани

алою влагой?

Кем солонце ведомо,

чтоб в осиянных долинах Арагви

зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрет, не заметив,

смертью займется, как будничным делом...

О, что мне делать с величием этим

гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!

Проще в постылой чужбине скитаться,

чем этой родины невероятной

видеть красу

и от слез удержаться.

Где еще Грузия - Грузии кроме?

Край мой, ты прелесть

и крайняя крайность!

Что понукает движение крови

в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рожден я - рожден не на время,

а навсегда, обожатель и раб твой.

Смерть я снесу, и бессмертия бремя

не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

Георгий Леонидзе

МОЙ ПАОЛО И МОЙ ТИЦИАН

Склон Удзо высокой луной осиян.

Что там происходит? Размолвка, помолвка

у соловьев? Как поют, Тициан!

Как майская ночь неоглядна, Паоло!

Вином не успел я наполнить стакан,

не вышло! Моими слезами он полом.

Во здравье, Паоло! За жизнь, Тициан!

Я выжил! Зачем, Тициан и Паоло?

Вином поминальным я хлеб окропил,

но мне ваших крыл не вернуть из полета

на грешную землю, где горек мой пир.

Эгей, Тициан! Что мне делать, Паоло?

Пошел бы за вами - да бог уберег.

Вот вход в небеса - да не знаю пароля.

Я пел бы за вас - да запекся мой рот.

Один подниму у пустого порога

слезами моими наполненный рог,

о братья мои, Тициан и Паоло...

x x x

Чего еще ты ждешь и хочешь, время?

Каких стихов ты требуешь, ответствуй!

Дай мне покоя! И, покоем вея,

дай мне воды, прозрачной и отвесной.

Зачем вкруг вью духоту смыкаешь?

Нет крыл моих. Нет исцеленья ранам.

Один стою. О, что ты сделал, Каин!

Твой мертвый брат мне приходился братом.

x x x

Как в Каспийской воде изнывает лосось,

на камнях добывает ушибы и раны

и тоскует о том, что кипело, неслось,

и туманилось, и называлось: Арагви, -

так тянусь я к тебе, о возлюбленный край!

Отчий край, приюти в твоем будущем русле

мою душу-вместилище скорби и ран.

Помещусь ли я в искре твоей, помещусь ли?

Симон Чиковани

НАЧАЛО

О стихи, я бы вас начинал,

начиная любое движенье.

Я бы с вами в ночи ночевал,

я бы с вами вступал в пробужденье.

Но когда лист бумаги так бел,

так некстати уста молчаливы.

Как я ваших приливов робел!

Как оплакивал ваши отливы!

Если был я присвоить вас рад,

вы свою охраняли отдельность.

Раз, затеяв пустой маскарад,

вы моею любимой оделись.

Были вы - то глухой водоем,

то подснежник на клумбе ледовой,

и болели вы в теле моем,

и текли у меня из ладоней.

Вас всегда уносили плоты,

вы погоне моей не давались,

и любовным плесканьем плотвы

вы мелькали и в воду скрывались.

Так, пока мой затылок седел

и любимой любовь угасала,

я с пустыми руками сидел,

ваших ласк не отведав нимало.

Видно, так голубое лицо

звездочет к небесам обращает,

так девчонка теряет кольце,

что ее с женихом обручает.

Вот уже завершается круг.

Прежде сердце живее стучало.

И перо выпадает из рук

и опять предвкушает начало.

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу

в честь раковины, найденной в земле.

Ты послужила морю молодому,

теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.

В нем знак печали, вечной и мирской.

А в раковине - воскресают звуки,

умершие средь глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы

и шелест флагов, буйный и цветной.

И шепчут ее сомкнутые губы,

и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещий

хотел бы в сердце обрести своем,

об соль морей и песни чевечьи

собрать под перламутровым крылом-

И сохранить средь прочих шумов - милый шум детства, различимый в тишине. Пусть так и будет. И на дне могилы пусть все звучит и бодрствует во мне. Пускай твой кубок звуки разливает и все же ими полнится всегда. Пусть развлечет меня - как развлекает усталого погонщика звезда. x x x Две округлых улыбки - Телети и Цхнети, и Кумиси и Лиси - два чистых зрачка. О, назвать их опять! И названия эти затрудняют гортань, как избыток глотка. Подставляю ладонь под щекотную каплю, что усильем всех мышц высекает гора. Не пора ль мне, прибегнув к алгетскому камню, высечь точную мысль красоты и добра? Тих и женственен мир этих сумерек слабых, но Кура не вполне обновила волну и, как дуб, затвердев, помнит вспыльчивость сабель, бег верблюжьих копыт, означавший войну. Этот древний туман также полон - в нем стрелы многих луков пробили глубокий просвет. Он и я - мы лишь известь, скрепившая стены вкруг картлийской столицы на тысячу лет. С кем сражусь на восходе и с кем на закате, чтоб хранить равновесье двух разных огней: солнце там, на Мтацминде, луна на Махате, совмещенные в небе любовью моей. Отпиваю мацони, слежу за лесами, небесами, за посветлевшей водой. Уж с Гомборской горы упадает в Исани первый луч - неумелый, совсем молодой. Сколько в этих горах я камней пересилил! И тесал их и мучил, как слово лепил. Превозмог и освоил цвет белый и синий. Теплый воздух и иней равно я любил. И еще что я выдумал: ветку оливы я жестоко и нежно привил к миндалю, поместил ее точно под солнце и ливни. И все выдумки эти Тбилиси дар МЕТЕХИ Над Метехи я звезды считал, письменам их священным дивился- В небесах, как на древних щитах, я разгадывал знаки девиза. Мне всегда объясняла одно эта клинопись с отсветом синим - будто бы не теперь, а давно, о Метехи, я был твоим сыном. Ты меня создавал из ребра, из каменьев твоих сокровенных, я наказывал мне серебра не жалеть для нарядов военных. Пораженный монгольской стрелой, я дышал так прощально и слабо под твоей крепостною стеной, где навек успокоился Або. За Махатской горой много дней ты меня окунал во туманы, колдовской паутиной твоей врачевал мои бедные раны. И когда-то спасенный тобой, я пришел к тебе снова, Метехи. Ворожи над моей головой, обнови золотые доспехи. Одари же, как прежде, меня Морским облаком и небесами, подведи под уздцы мне коня, чтоб скакать над холмами Иоанн. А когда доскажу все слова и вздохну так прощально и слабо, пусть коснется моя голова головы опечаленной Або. ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ... Прекратим эти речи на миг, пусть и дождь свое слово промолвит и средь тутовых веток немых очи дремлющей пты промоет. Где-то рядом, у глаз и у щек, драгоценный узор уже соткан- шелкопряды мотают свой шелк на запястья верийским красоткам. Вся дрожит золотая блесна, и по милости этой погоды так далекая юность близка, так свежо ощущенье свободы. О, ходить, как я хаживал, впредь и твердить, что пора, что пора ведь в твои очи сквозь слезы смотреть и шиповником пальцы поранить. Так сияй своим детским лицом! Знаешь, нравится мне в этих грозах, как стоят над жемчужным яйцом аистихи в затоенных гнездах. Как миндаль облетел и намок! Дождь дорогу марает и моет- это он подает мне намек, что не столько я стар, сколько молод. Слышишь? - в тутовых ветках немых голос птицы свежее и резче. Прекратим эти речи на миг, лишь на миг прекратим эти речи. НА НАБЕРЕЖНОЙ Я в семь часов иду - так повелось - по набережной, в направленье дома, и продавец лукавый папирос мне смотрит вслед задумчиво и долго. С лотком своим он на углу стоит, уставится в меня и не мигает. Будь он неладен, взбалмошный старик. Что знает он, на что он намекает? О, неужели ведомо ему, что, человек почтенный и семейный, в своем дому, в своем пустом дому, томлюсь я от чудачеств и сомнений? Я чиркну спичкой - огонек сырой возникнет. Я смотрю на это тленье, и думы мои бродят над Курой, как бы стада, что ищут утоленья. Те ясени, что посадил Важа, я перенес в глубокую долину, и нежность моя в корни их вошла, и щедро их цветеньем одарила. Я сердце свое в тонэ закалил, и сердце стало вспыльчивым и буйным. - И все ж порою из последних сил тянул я лямку - одинокий буйвол. О старость, приговор твой отмени и детского не обмани доверья. Не трогай палисадники мои, кизиловые не побей деревья. Позволь, я закатаю рукава. От молодости я изнемогаю - пока живу, пока растет трава, пока люблю, пока стихи слагаю. ОТ ЭТОГО ПОРОГА... От этого порога до того работы переделал немало. Чинары я сажал - в честь твоего лица, что мне увидеть предстояло- Пока я отыскал твои следы и шел за ними, призванный тобою, состарился я. Волосы седы. Ступни мои изнурены ходьбою. И все ж от этой улицы до той я собирал оброненные листья, и наблюдали пристально за мной прохожих озадаченные лица. То солнце жгло, то дождик лил - всего не перескажешь. Так длинна дорога от этого порога до того и от того до этого порога. И все-таки в том стареньком дому все нашими населено следами, и где-то там, на чердаке, в дыму, лежит платок с забытыми слезами. От этого и до того огня ты шила мне мешок для провианта, Ты звездную одела на меня рубаху. Ты мешок мой проверяла. От этого порога до того я шел один среди жары и стужи, к бокам коней прикладывал тавро, и воду пил, толок я воду в ступе. Я плыл по рекам и не знал - куда, и там, пока плыла моя пирога, я слышал, как глаголила Кура, - от этого и до того порога. ОЛЕНИ НА ГУМНЕ Я молод был. Я чужд был лени. Хлеб молотил я на гумне. Я их упрашивал: - Олени! Олени, помогите мне! Они послушались. И славна работали мы дотемна. О, как смеялись мы, как сладка дышали запахом зерна! Нас солнце красное касалось и отражалось в их рогах. Рога я трогал - и казалась, что солнце я держу в руках. Дома виднелись. Их фасаду закат заглядывал в лицо. И вдруг, подобная фазану, невеста вышла на крыльцо. Я ей сказал: - О, совпаденье! Ты тоже здесь? Ты - наяву? Но будь со мной, как сновиденье, когда засну, упав в траву. Ты мне привидишься босая, босая, на краю гумна. Но, косы за плечи бросая, ты выйдешь за пределы сна. И я скажу тебе: "Оденем оленям на рога цветы. Напьемся молоком оленьим иль буйвольим - как хочешь ты". Меж тем смеркается, и вилы крестьянин прислонил к стене, и возникает запах винный, и пар клубится на столе. Присесть за столик земледельца и, в сладком предвкушенье сна, в глаза оленьи заглядеться и выпить доброго вина... БЫКИ Что за рога украсили быка! Я видел что-то чистое, рябое, как будто не быки, а облака там шли, обремененные арбою. Понравились мне красные быки. Их одурманил запах урожая. Угрюмо напряженные белки смотрели добро, мне не угрожая. О, их рога меня с ума свели! Они стояли прямо и навесно. Они сияли, словно две свечи, и свечи те зажгла моя невеста. Я шел с арбой. И пахло все сильней чем-то осенним, праздничным и сытым. О виноградник юности моей, опять я янтарем твоим осыпан. Смотрю сквозь эти добрые рога н вижу то, что видывал когда-то: расставленные на лугу стога, гумно и надвижение заката. Мне помнится - здесь девочка была, в тени ореха засыпать любила. О женщина, ведущая быка, сестра моя! Давно ли это было? Прими меня в моих местах родных и одари теплом и тишиною! Пусть светлые рога быков твоих, как месяцы, восходят надо мною. АНАНИЯ Люблю я старинные эти старания: сбор винограда в ущелье Атени. Волов погоняет колхозник Анания, по ягодам туты ступают их тени. Пылает оранжевым шея вола! Рогам золотым его - мир и хвала! Сквозь них мне безмерная осень видна. Уже виноград претерпел умиранье. Но он воскресает с рожденьем вина, в младенчестве влаги, что зрела века. Ведь эта дорога и прежде вела туда, где хранит свои тайны марани. Ах, осени этой труды и сияния! А вон и ореха обширная крона, - как часто под ней засыпал ты, Анания, и было лицо твое славно и кротко. Меж тем вечереет, и, в новой длине, все тени бредут в неживой вышине, как луны, мерцают волы при луне, и столько добра и усталости в теле. Как часто все это припомнится мне: тяжелые скрипы арбы в тишине и, в мирном и медленном лунном огне, Анания, и волы, и Атени... В СИГНАХИ, НА ГОРЕ Я размышлял в Сигнахи, на горе, над этим миром, склонным к переменам, Движенье неба от зари к заре казалось мне поспешным и мгновенным. Еще восхода жив и свеж ожог и новый день лишь обретает имя, уже закатом завершен прыжок, влекущий землю из огня в полымя. Еще начало! - прочности дневной не научились заново колени. Уже конец! - сомкнулось надо мной ночное благо слабости и лени. Давно ли спал младенец-виноград в тени моей ладони утомленной? А вот теперь я пью вино и рад, что был так добр к той малости зеленой. Так наблюдал я бег всего, что есть, то ликовал, то очень огорчался, как будто, пребывая там и здесь, раскачивал качели и качался! ГРЕМСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ Всему дана двойная честь быть тем и тем: предмет бывает тем, что он в самом деле есть, и тем, что он напоминает. Я представлял себе корабль всегда, когда смотрел на Греми. Каким небесным якорям дано держать его на гребне? Я знал - нет смерти на земле, нет ничему предела, если опять, о Греми, на заре твои колокола воскресли. Вкусивший гибели не раз, твой грозный царь, поэт твой бедный, опять заплакал Теймураз, тобой возвышенный над бездной. Кахетии так тяжела нагрузка кисти виноградной. Вокруг покой и тишина и урожая вид нарядный. От заслонивших очи слез в счастливом зрительном обмане, твой странник, Греми, твой матрос, гляжу, как ты плывешь в тумане. ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ Теперь и сам я думаю: ужели по той дороге, странник и чудак, я проходил? Горвашское ущелье, о, подтверди, что это было так. Я проходил. И детскую прилежность твоей походки я увидел. Ты за мужем шла покорная, но нежность, сиянье нежности взошло из темноты. Наши глаза увиделись. Ревниво взглянул твой муж. Но как это давно случилось. И спасла меня равнина, где было мне состариться дано. Однако повезло тому, другому, - не ведая опасности в пути, по той дороге он дошел до дому, никто не помешал ему дойти. Не гикнули с откоса печенеги, не ухватились за косы твои, не растрепали их. Не почернели глаза твои от страха и любви. И, так и не изведавшая муки, ты канула, как бедная звезда. На белом муле, о, на белом муле в Ушгули ты спустилась навсегда. Но все равно - на этом перевале ликует и живет твоя краса. О, как лукавили, как горевали глаза твои, прекрасные глаза. ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ А после - шаль висела у огня, и волосы, не знавшие законов прически, отряхнулись от заколок и медленно обволокли меня. Я в них входил, как бы входил в туман в горах сванетских, чтобы там погибнуть, и все-таки я их не мог покинуть, и я плутал в них и впадал в обман. Так погибал я в облаке твоем. Ты догадалась - и встряхнула ситом, пахнуло запахом земным и сытым, и хлеб ячменный мы пекли вдвоем. Очаг дышал все жарче, все сильней. О, как похожи были ты и пламя, как вы горели трепетно и плавно, и я гостил меж этих двух огней. Ты находилась рядом и вокруг, но в лепете невнятного наречья, изогнутою, около Двуречья тебя увидеть захотел я вдруг. Чуть не сказал тебе я: "О лоза, о нежная, расцветшая так рано..." В Сванетии не знают винограда, я не сказал. И я закрыл глаза. Расстались мы. И вот, скорей старик, чем мальчик, не справляюсь я с собою, и наклоняюсь головой седою, и надо мной опять туман стоит. Верни меня к твоим словам, к рукам. Задуманное облакам поведай, я догадаюсь - по дождю, по ветру. Прошу тебя, поведай облакам! ДЕВЯТЬ ДУБОВ

/Число девять считалось в народе магическим (девять дорог, девять гор, девять корней и т.д.). Девять дубов - символ непоколебимости, силы, долговечности народа.

Девять плит Марабды - девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде./ Мне снился сон - и что мне было делать? Мне снился сон - я наблюдал его. Как точен был расчет - их было девять: дубов и дзвов. Только и всего. Да, девять дэвов, девять капель яда на черных листьях, сникших тяжело. Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то, я не забыл то древнее число. Вот девять гор, сужающихся кверху, как бы сосуды на моем пути. И девять пчел слетаются на квеври, и квеври тех - не больше девяти. Я шел, надежду тайную лелея узнать дубы среди других лесов. Мне чудится - они поют "Лилео". О, это пенье в девять голосов! Я шел и шел за девятью морями. Число их подтверждали неспроста девять ворот, а девять плит Марабды, и девяти колодцев чистота. Вдруг я увидел: посреди тумана стоят деревья. Их черты добры. И выбегает босиком Тамара и девять раз целует те дубы. Я исходил все девять гор. Колени я укрепил ходьбою. По утрам я просыпался радостный. Олени, когда я звал, сбегали по горам. В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть. О, девять раз изведавшему это не боязно однажды умереть. Мои дубы помогут мне. Упрямо я к их корням приникну. Довезти меня возьмется буйволов упряжка. И снова я сочту до девяти. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕРАФИТЕ Во время археологических раскопок древней картлийской столицы Армази, близ Мцхеты, была обнаружена гробница юной и прекрасной девушки - Серафиты, чей облик чудом сохранился до наших дней в своей живой прелести. В гроб ее проник корень гранатового дерева, проскользнувший в кольцо браслета. РАЗДУМЬЯ О СЕРАФИТЕ Как вникал я в твое многолетие, Мцхета. Прислонившись к тебе, ощущал я плечом мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета, вздох стены, затрудненный огромным плющом. Я хотел приобщить себя к чуждому ритму всех старений, столетий, страстей и смертей. Но не сведущий в этом, я звал Серафиту, умудренную возрастом звезд и детей. Я сказал ей: - Тебе все равно, Серафита: умерла, и воскресла, и вечно жива. Так явись мне воочью, как эта равнина, как Армази, созвездия и дерева. Не явилась воочью. Невнятной беседой искушал я напрасно твою немоту. Ты - лишь бедный ребенок, случайно бессмертный, но изведавший смерть, пустоту и тщету. Все тщета! - я подумал. - Богатые камни неусыпных надгробий - лишь прах, нищета. Все тщета! - повторил я. И вздрогнул: - А

Картли?

Как же Картли? Неужто и Картли - тщета?

Ничего я не ведал. Но острая влага

округлила зрачок мой, сложилась в слезу.

Вспомнил я - только ель, ежевику и благо,

снизошедшее в этом году на лозу.

И пока мои веки печаль серебрила,

и пугал меня истины сладостный риск,

продолжала во веки веков Серафита

красоты .и бессмертия детский каприз.

Как тебе удалось - над убитой боями

и воскресшей землею, на все времена,

утвердить независимый свет обаянья,

золотого и прочного, словно луна?

Разве может быть свет без источника света?

Или тень без предмета? Что делаешь ты!

Но тебе ль разделять здравомыслие это

в роковом заблужденье твоей красоты!

Что тебе до других? Умирать притерпелись,

не умеют без этого жить и стареть.

Ты в себе не вольна - неизбывная прелесть

не кончается, длится, не даст умереть.

Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость

небесам над Армази большая звезда, -

всем дано претерпеть эту муку и благость,

ничему не дано миновать без следа.

ЗОВУ СЕРАФИТУ

Не умерла, не предана земле.

Ты - на земле живешь, как все.

Но разве,

заметив боль в пораненном крыле,

не над тобою плакал твой Армази?

О, как давно последние дары

тебе живая суета дарила!

С тех пор я жду на берегах Куры,

н засухой опалена долина.

Не умерла. И так была умна,

что в спешке доброты и терпенья

достиг твой шелест моеггумна:

вздох тишины и слабый выдох пенья-

Что делаешь? Идешь? Или пока

тяжелым гребнем волосы неволишь?

Не торопись. Я жду тебя - века.

Не более того. Века всего лишь.

Еще помедли, но приди. Свежа

н не трудна твоя дорога в Мцхету.

Души моей приветная свеча

уже взошла и предается свету.

Уж собраны и ждут тебя плоды

и лакомства, стесненные корзиной.

Как милосердно быть такой, как ты:

сюда идущей и такой красивой.

В молчании твой голос виноват.

Воспой глубоким горлом лебединым

и виноградаря, и виноград,

и виноградники в краю родимом.

Младенческою песней умудрен,

я разгадаю древние затеи

и вызволю из тесноты времен

отцов и дедов доблестные тени.

Бессмертное не может быть мертво.

Но знает ли о том земля сырая,

ошибку ожиданья моего

оплакивая и благословляя?

Как твой удел серьезен и высок:

в мгновенных измененьях мирозданья

все бодрствует великий голосок

бессмертного блаженства и страданья.

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО

У ГРОБНИЦЫ СЕРАФИТЫ

И встретились:

бессмертья твоего

прекрасная и мертвая громада

и маленькое дерево граната,

возникшее во мгле из ничего.

Ум дерева не ведает иной

премудрости:

лишь детское хотенье

и впредь расти, осуществлять цветенье

и алчно брать у щедрости земной.

Не брезгуя глубокой тьмой земли,

в блаженном бессознании умнейшем,

деревья обращаются к умершим

и рыщут пользы в прахе и пыли.

Но что имел в виду живой росток,

перерастая должные границы,

когда проник он в замкнутость гробницы

и в ней сплоченность мрамора расторг?

Влекло его твое небытие

пройти сквозь твердь плиты непроходимой,

чтобы припасть к твоей руке родимой,

удостоверясь в тонкости ее.

С великим милосердием дерев

разнял он узкий холодок браслета

и горевал, что ты была бессмертна

лишь вечно, лишь потом, лишь умерев.

Гранат внушал запястью твоему

все то, что знал об алых пульсах крови

в больших плодах, не умещенных в кроне

и по ночам слетающих во тьму.

Он звал тебя узнать про шум ветвей

с наивностью, присущею растеньям, -

истерзанный тяжелым тяготеньем,

кровоточеньем спелости своей.

Какая же корысть владела им,

вела его в таинственные своды

явить великодушие природы -

в последний раз! - твоим рукам немым?

Не Грузии ли древней тишина

велит очнуться песенке туманной:

"Зачем так блещут слезы, мой желанный?

Зачем мне эта легкость тяжела?"

Не Грузии ли древней колдовство

велит гранату караулить плиты

и слабое дыханье Серафиты

не упускать из сердца своего?

СКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ

В той давности, в том времени условном

что был я прежде? Облако? Звезда?

Не пробужденный колдовством любовным

алгетский камень, чистый, как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,

я был изъят из тьмы, я был рожден.

Я - человек. Я, как поющий купол,

округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствахв тот день я крикнул: - О земля я!

Даруй мне тень! Пошли хоть малый кустик-

простить меня и защитить меня! Там, в небесах, не склонный к проволочке сияющий нацелен окуляр, чтобы вкусил я беззащитность точки, которой алчет перпендикуляр. Я по колено в гибели, по пояс, я вязну в ней, тесно дышать груди. О школьник обезумевший! Опомнись! Губительной прямой не проводи. Я - человек! И драгоценен пламень в душе моей. Но нет, я не хочу сиять заметно! Я - алгетский камень. О господи, задуй во мне свечу! И отдалился грохот равномерный, н куст дышал, и я дышал под ним. Немилосердный ангел современный побрезговал ничтожеством моим. И в этот мир, где пахло и желтело, смеркалось, пело, силилось сверкнуть, я нежно вынес собственного тела родимую и жалостную суть. Заплакал я, всему живому близкий, вздыхающий, трепещущий, живой. О высота моей молитвы низкой, я подтверждаю бедный лепет твой. Я видел одинокое, большое свое лицо. Из этого огня себя я вынес, как дитя чужое, слегка напоминавшее меня. Не за свое молился долговечье в тот год, в тот час, в той темной тишине - за чье-то золотое, человечье, случайно обитавшее во мне. И выжило оно. И над водою стоял я долго. Я устал тогда. Мне стать хотелось облаком, звездою, Алгетским камнем, чистым, как вода. ОСКОЛКИ ГЛИНЯНОЙ ЧАШИ Некогда Амиран, рассердившись, разбил вдребезги глиняную чашу, но осколки ее, желая соединиться, с шумом и звоном улетели в небо.

Из народного сказания

...И ныне помню этот самолет

и смею молвить: нет, я не был смелым.

Я не владел своим лицом и телом.

Бежал я долго, но устал и лег.

Нет, не имел я твердости колен,

чтоб снова встать. Пустой и одинокий,

я все лежал, покуда взрыв высокий

землей чернел и пламенем алел. ...

Во мне скрестились холод и жара.

Свистел пропеллер смерти одичавшей.

И стал я грубой, маленькою чашей,

исполненною жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,

разбить меня, как глиняную цельность,

своим смертельным острием прицелясь

в непрочный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,

глупец, мудрец, я счастлив был так часто.

А вот теперь я - лишь пустяк, лишь чаша.

И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот

я золотыми дребезгами гряну,

предамся я вселенскому туману,

на искру увеличив небосвод.

Пусть так и будет. Ночью, как-нибудь,

мелькну звездой возле созвездья Девы.

Печальные меня проводят дэвы

в мой Млечный и уже последний путь.

Разрозненность сиротская моя

воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.

И, может быть, я все ж вернусь, как аист

на милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит

твоя любовь. И все-таки ответствуй:

кто выручит меня из мглы отвесной

и отсветы души соединит?

Карло Каладзе

ЖИЗНЬ ЛОЗЫ

Новелла в четырех песнях

I

Солнце гуляет по-над берегами Иори,

зной непомерный свершился, а день в половине.

Лютое солнце спалило поля - не его ли

станем учить, как лелеять цветы полевые?

Все-таки, все-таки только природе доверюсь:

книга горы, где любая глава-виноградник,

рукопись солнца: сложенная гением ересь,

вникнуть бы в смысл этих надписей невероятных?

Чу! Виноградарей песня зовет не меня ли

зрением слез созерцать этот край изобилья?

Если умру и забудусь - небес и Манави

встреча и в том забытьи да не будет забыта!

Если б строку совершенной лозе уподобить!

Я - только голос, чтоб хору все пелось и пелось.

Я - только глаз, чтобы взгляд был всевидяще-добрым,

видя и ведая зелень, и вольность, и прелесть.

Не шелохнувшись, мгновение длится, как время.

Разве помыслишь о зле, о вражде и о вздоре?

Я не случайно избрал для любви и доверья

бег и стремленье и легкую поступь Иори.

Солнце - мое! И на радостях мне захотелось

солнце, как шапку, забросить в небесную чащу.

Тот, только тот, кто в уста целовал ркацители,

видел светило, вмещенное в винную чашу!

- Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс.

Твое и мое одинаковы сердцебиенья.

Ты - прежде, ты - мастер, я твой подражатель,

и пусть!-

Тебе посвящу ученичество стихотворенья. II Слава, Манави, тому, кто затеял однажды вечность любви, и сады, и судьбу, и угодья. Крепость в руинах, и та изнывает от жажды верить в бессмертье цветенья и плодородья. Мертв от рожденья, кто верит в скончание света. Свет будет длиться - без перерыва и риска. Ты, виноградник, поведай, как было все это: лоз исчисление - триста, и триста, и триста. Воздух прозрачен, как будто отсутствует вовсе, помысел сердца в нем явственно опубликован. Домики эти всегда помышляют о госте, пялясь в пространство высокими лбами балконов. Сразу, врасплох, со спины - на ликующий полдень обрушился град, нещадная грянула ярость. Пал виноградник и смертного мига не понял, черное облако, смерти слепая всеядность. Только минута прошла: непогода с погодой насмерть схватились непоправимо и быстро. Солнце опомнилось. Полдень очнулся спокойный. Нет ни того, кто убит, ни того, кто убийца. Мертвой лежит драгоценная малость и радость, веточка, чудо, казненное детство побега, и улетучилась, и не сбылась виноградность... Ведро. Глаза прозревают от влаги от века. - Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс: бессонница крови, ямб-пауза и ударенье. Во мне - твоя кровь. Золотой виноградиной уст, тебя восхваляя, свершается стихотворенье. III Было - но есть, ибо память не знает разлуки с временем прошлым, и знать не научится вскоре. Ношею горя обремененные руки. Памятник битве неравной. Безмолвие скорби. Брат виноградарь, когда бы глупей иль умнее был, я б забыл о былом, но не рано ль, не рано ль? В наших зрачках те события окаменели, сердце прострелено градом, о брат виноградарь. Если нахмурюсь и молвлю: - Я помню. Ты помнишь? Мне собеседник ответит: - Ты помнишь? Я помню. Жизнь-это средство смертельно рвануться на помощь жизни чужой: человеку, и саду, и полдню. Что из того, что навряд ли и трех очевидцев бой пощадил, чтобы длилась суровая тризна. Может быть, трое осталось из тех арагвинцев, много и мало их было, а было их триста. Женщины реяли, черные крылья надевши, в высях печали, которую ум не постигнет. Встань, виноградник, предайся труду и надежде! Ты - непреклонен, вовек ты не будешь пустынен. Ты, как и я, завсегдатай горы зеленейшей. Я, как и ты, уроженец и крестник Манави. Сводит с ума - так родим, и громоздок, и нежен поскрип колес до отверстого входа в марани! -Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс. Благоговею пред страстью твоею к даренью. Ты мою кровь понукаешь спешить, тороплюсь: благодаренье окажется стихотвореньем. IV Хочет лоза говорить, повисая бессильно, изнемогая, вздыхая все тише и реже. Чтобы потом сожаление нас не бесило, пусть говорит! Как добры ее чудные речи! - Может быть, дух испущу - и тогда не отчаюсь. Я одолею меня испытующий ужас. Непрерываемость жизни, любви неслучайность, длительность времени - мне отведенная участь. Вечно стремлюсь, как Иори и как Алазани, как продвиженье светил в глубине мирозданья, тысячелетья меня провожают глазами, вечно стремлюсь исцелить и утешить страданья. Помню грузин, что о Грузии так трепетали: о, лишь возьми мою жизнь, и дыханье, и трепет. Жизнь не умеет забыться для сна и печали, и виноградник живет, когда бедствие терпит. Дудочки осени празднество нам возвестили. Слушайте, воины и земледельцы, мужчины! Той же рукою, которой меня вы взрастили, ввысь поднимите с великою влагой кувшины. Жажда - была и, как горе, сплыла, миновала, быть ей не быть - не колеблясь и не канителя. Тот, кто на солнце смотрел сквозь стакан ркацители, может сказать: меня солнце в уста целовало! - Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс, тот пульс, что во мне, это только твое повторенье. Пока он так громок, насыщен тобой и не пуст, прошу, о, прими подношение стихотворенья! x x x С гор и холмов, ни в чем не виноватых, к лугам спешил я, как учил ручей. Мой голос среди троп замысловатых служил замысловатости речей. Там, над ручьем, сплеталась с веткой ветка, как если бы затеяли кусты от любопытства солнечного света таить секрет глубокой темноты. Я покидал ручей: он ведал средство мои два слова в лепет свой вплетать, чтоб выдать тайну замкнутого сердца, забыть о ней и выпытать опять. Весть обо мне он вынес на свободу, и мельницы, что кривы и малы, с той алчностью присваивали воду, с какою слух вкушает вздор молвы. Ручей не скрытен был, он падал с кручи, о жернов бился чистотою лба, и, навостривши узенькие уши, тем желобам внимали желоба. Общительность его души исторгла речь обо мне. Напрасно был я строг: смеялся я, скрывая плач восторга, он - плакал, оглашая мой восторг. Пока миниатюрность и нелепость являл в ночи доверчивый ручей, великих гор неколебимый эпос дышал вокруг - божественный, ничей. В них тишина грядущих гроз гудела. В них драгоценно длился каждый час. До нас, ничтожных, не было им дела, сил не было любить ничтожных нас. Пусть будет так! Не смея, не надеясь занять собою их всевышний взор, ручей благословляет их надменность и льется с гор, не утруждая гор. Простим ему, что безобидна малость воды его - над малою водой плывет любви безмерная туманность, поет азарт отваги молодой. Хвала ручью, летящему в пространство! Вы замечали, как заметил я, - краса ручья особенно прекрасна, когда цветет растение иа. x x x На берегу то ль ночи, то ли дня, над бездною юдоли, полной муки, за то, что не отринули меня, благодарю вас, доли и дудуки. Мои дудуки, саламури, стон исторгшие, и ты, веселый доли, взывают к вам вино, и хлеб, и соль: останьтесь в этом одиноком доме. Зачем привычка к старости стара, в что за ветер в эту ночь запущен? Мне во главе пустынного стола осталось быть и страждущим, и пьющим. Играет ветер в тени, в голоса, из винной чаши, утомившей руки, в мои глаза глядят мои глаза, влюбленные в вас, доли и дудуки. Тбилиси держит на ветру свечу, пусть ваша жизнь ее огнем продлится! Я пью вино. Я плачу. Я хочу, друзья мои, увидеть ваши лица. Без вас в ночи все сиро и мертво. Покуда доли воплощает в звуки все перебои сердца моего, мой стон звучит в стенании дудуки. x x x Эти склоны одела трава. Сколько красок сюда залетело! А меня одолели слова. Слово слабой душой завладело. Как все желто, бело и красно! Знать, и мак свою силу здесь тратил. Как понять пестроту? Все равно! Погляди и забудь, о читатель. Нет, и бог не расстелет ковра одноцветного, не расписного. Я лелеял и помнил слова, но не понял - где главное слово. Всем словам, что объемлет язык, я был добрый и верный приятель. Но какое ж мне выбрать из них, чтоб тебе угодить, о читатель? x x x Летит с небес плетеная корзина. Ах, как нетрезвость осени красива! Задор любви сквозит в ее чертах. В честь истины, которую мы ждали, доверимся младенчеству маджари! А ну-ка чашу! Чашу и черпак! Опустимся пред квеври на колени, затем поднимем брови в изумленьи: что за вино послал нам нынче бог! Пылают наши щеки нетерпеньем, и, если щеки не утешить пеньем, что делать нам с ланьем наших щек? Лоза хмельная ластится к ограде. Не будем горевать о винограде- душа вина бессмертна и чиста. Пусть виночерпий, как и подобает, услады виноградарям добавит - им подобает усладить уста. x x x Когда расцеловал я влагу двух глаз твоих и совершенство их нежной мрачности постиг, сказал я: я имел отвагу жить на земле и знать блаженство - я жил, я знал, и бог простит. Сегодня я заметил странность, увы, заметил я, что море твой образ знает и творит: в нем бодрствует твоя усталость, и губы узнают в нем горе тех слез твоих, о, слез твоих. РУССКОМУ ПОЭТУ - МОЕМУ ДРУГУ Я повторю: "Бежит, грохочет Терек". Кровопролитья древнего тщета и ныне осеняет этот берег: вот след клинка, вот ржавчина щита. Покуда люди в жизнь и смерть играли, соблазном жить их Терек одарял. Здесь нет Орбелиани и Ярали, но, как и встарь, сквозит меж скал Дарьял. Пленяет зренье глубина Дарьяла, познать ее не все обречены. Лишь доблестное сердце выбирало красу и сумрак этой глубины. -Эгей! - я крикнул. Эхо не померкло до этих пор. И, если в мире есть для гостя и хозяина проверка, мой гость, проверим наши души здесь. Да, здесь, где не забыт и не затерян след путника, который в час беды в Россию шел, превозмогая Терек, помедлил и испил его воды. Плач саламури еще слышен в гуле реки священной. Мой черед настал испить воды, и быть тергдалеули, и распахнуть пред гостем тайну скал. Здесь только над вершиной перевала летят орлы на самый синий свет. Здесь золотых орлов как не бывало. Здесь демона и не было и нет. Войди сюда не гостем-побратимом! Водой свободной награди уста... Но ты и сам прыжком необратимым уже взошел на крутизну моста. В минуту этой радости высокой осанка гор сурова и важна, и где-то на вершине одинокой все дрствует живая тень Важа. НА СМЕРТЬ ПОЭТА В горле моем заглушенного горя мгновенье- вот преткновенье для вздоха, и где дуновенье воздуха? - вымер он весь иль повеять ленится? Тяжко, неможется, душно дубам Леонидзе. Гогла, твой дом опален твоим жаром последним. Грозный ожог угрожает деревьям соседним. Гогла, платан, что привык быть тобою воспетым, проклятый пеклом, горит и становится пеплом. Если и сосен к себе не зовешь пред разлукой, - как же ты занят твоей огнедышащей мукой! Доблестный Мцыри, скиталец нездешней пустыни, где же та пустынь, в которой отшельник ты ныне? Слово одно исцелит твое бедное горло, ты ли не знаешь об этом, о Гогла, о Гогла! Смертная мука пребудет блаженством всего лишь, если гортань ты о ней говорить приневолишь. Лютую смерть, бездыханную участь предмета вытерпеть легче, чем слышать безмолвье поэта. Грузии речь, ликованье, страданье, награда, не покидай Леонидзе так рано, не надо, лишь без тебя он не вынес бы жизни на свете, лишь без тебя для него бесполезно бессмертье.

Ираклий Абашидзе

КОРНИ

Вознесен над Евфратом и Тигром,

сверху вниз я смотрел на века,

обведенные смутным пунктиром,

цвета глины и цвета песка.

И клонилась, клонилась средь ночи

к междуречью моя голова.

Я без страха глядел в его очи,

словно в очи заснувшего льва.

Там, вверху, я оплакал утрату

тех времен, что теперь далеки,

когда белая темень Урарту

вдруг мои осенила зрачки

И когда в повороте капризном

промелькнул, словно тень меж ресница

дорогой и таинственный призрак

шумерийских и хеттских границ.

Приласкать мои руки хотели, -

но лишь воздух остался в руках, -

голубей, обитавших в Халдее,

в разоренных ее облаках.

Что-то было тревожное в этом

вихревом и высоком дыму,

белым цветом и розовым цветом

восходившем к лицу моему.

О, куда бы себя ни умчала,

свой исток да припомнит река!

Кровь моя обрела здесь начало

и меня дожидалась века.

В скольких женщинах, скольких мужчинах

билась пульсов моих частота.

Так вино дозревает в кувшинах

и потом услаждает уста.

И пока тяжелы мои корни

посреди занесенных полей,

я - всего лишь подобие кроны

над могилою этих корней.

ХВАМЛИ

Я, как к женщинам, шел к городам.

Города, был обласкан я вами.

Но когда я любил Амстердам,

в Амстердаме я плакал о Хвамли.

Скромным жестом богини ко мне

протянула ты руки, Эллада.

Я в садах твоих спал, и во сне

видел Хвамли я в день снегопада.

О Эмпайр, по воле твоей

я парил высоко над Гудзоном.

Сумма всех площадей и полей

представлялась мне малым газоном.

Но твердил я - О Хвамли, лишь ты,

лишь снегов твоих вечный порядок,

древний здух твоей высоты

так тяжел моим легм и сладок.

Гент, ответь мне, Радам, подтверди-

вас ли я не любил? И не к вам ли

я спешил, чтоб у вас на груди

опечаленно вспомнить о Хвамли?

Благодарствуй, земля! Женских глаз

над тобой так огромно свеченье.

Но лишь раз я любил. И лишь раз

все на свете имело значенье.

плотивший единственность ту,

Хвамли,ыйди ко мне из тумана,

и вольюсь я в твою высоту-

обреченный, как сын Амирана.

ОПУСТЕВШАЯ ДАЧА

Увы, ущелие пустое!

Давно ли в сетке гамака

желтело платьице простое,

как птица в глубине силка?

Давно ли женщина глядела

глазами чуть наискосок?

Кто улетел? Что улетело

и след впечатало в песок?

Давно ль смородиной зеленой

играли пальчики любви

и на веранде застекленной

шел спор меж милыми людьми?

Но кто ж возник здесь? Что возникло?

Кто плакал и не вытер слез?

Какой бесчинствовал возница?

Куда увез? Зачем увез?

Под сенью бедного ореха

чего я жду? Кого я жду?

Какого голоса и смеха?

Какого шепота в саду?

Так утром, при погоде славной,

я шел меж опустевших дач,

овеянный печалью сладкой

и предвкушеньем неудач.

x x x

Я книгочей, я в темень книг глядел,

я звездочет, я созерцал пространство,

невежда, я не ведал - где предел

любви, что беспредельна и прекрасна.

Есть край бескрайним лепетам молитв,

и мера есть безмерным лептам плача.

Как я молился! Сколько слез пролил!

Избыток муки - вот моя удача.

Я ранен был, и мертв, и снова жил,

и, в бесконечной грусти мирозданья,

грущу о том, что мало послужил

оплошности чрезмерного страданья.

x x x

Жаждешь узреть - это необходимо -

(необходимо? зачем? почему?) -

жаждешь узреть и собрать воедино

все, что известно уму твоему.

Жаждешь, торопишься, путаешь, боже,

вот сколько нужно: глаза, голоса,

горе... а радости? Радости тоже!

Радости, шалости и чудеса!

Жаждешь и думаешь: помню ль? могу ли?

Вечер в Риони, клонящий к слезам

солнцем и свадьбою: "Лиде"... "Макрули"...

И Алазань? Как забыть Алазань?

Жаждешь в душе твоей, в бедном ковчеге,

соединить без утрат и помех

все, что творится при солнце и снеге:

речи, поступки, и солнце, и снег.

Жаждешь... Но если, всевышним веленьем,

вдруг обретешь это чудо и жуть,

как совладаешь с чрезмерным виденьем,

словом каким наречешь его суть?

x x x

Ты увидел? Заметил? Вгляделся?

В мире-прятанье, поиск, игра:

улепетывать с резвостью детства,

притаиться, воскликнуть: "Пора!"

Обыскав ледники и теплицы,

перестав притворяться зимой,

март взывает: "Откликнись, Тбилиси!

Ты - мой баловень, неженка мой".

Кутерьма адресатов и почты:

блеск загара грустит по лицу,

рыщет дерево: где его почки?

Не они ль утаили листву?

Ищет сад - пребывания втайне,

ищет ливень - пролиться куда,

но скрывает Куры бормотанье,

что скрывает и ищет Кура?

Наконец все находят друг друга,

всех загадок разгадка ясна,

и внутри драгоценного круга

обретает Тбилиси весна.

ДАЛЕКАЯ ШХЕЛДА

Тот снег - в ожидании нового снега,

скажу лишь о нем, остальное я скрою.

И прошлой зимой длилось действие неба

над Шхелдою, над осиянной горою.

Свеченья и тьмы непрестанная смена -

вот опыт горы, умудряющий разум.

Тот снег в ожидании нового снега -

в недвижности, но и в азарте прекрасном.

Неистовый дух, вечно алчущий света,

молящийся, страждущий и дерзновенный.

Тот снег в ожидании нового снега.

Далекая Шхелда и сумрак вселенной.

КАМЕНЬ

Я сравнивал. Я точен был в расчетах.

Я применял к предметам власть свою.

Но с тайною стихов неизреченных

что мне поделать? С чем я их сравню?

Не с кладом ли, который вдруг поранит

корыстный заступ, тронувший курган?

Иль равен им таинственный пергамент,

чей внятный смысл от всех сокрыл Кумран?

Иль есть в них сходство с недрами Армази,

присвоившими гибель древних чаш?

Их черепки сверкнут светлей алмаза,

но не теперь, - когда настанет час.

Иль с Ванскими пещерами? Забава

какой судьбы в тех знаках на стене?

Или с Колхидой, копья и забрала

хранящей в темно и тишине?

Нет, с нежным чудом несвеенной речи

сравниться могут - не сравнявшись с ней-

лишь вещей Мцхеты сумрачные свечи, в чьем пламени живет душа теней. Не искушай, метафора, не мучай ни уст немых, ни золотых чернил! Всему, что есть, давно уж выпал случай - со всем, что есть, его поэт сравнил. Но скрытная, как клинопись на стенах, душа моя, средь бдения и снов, все алчет несравнимых, несравненных, не сказанных и несказанных слов. Рука моя спеш предаться жесту - к чернильнице и вправо вдоль стола. Но бесполезный плач по совершенству- всего лишь немота, а не слова. О, как желает сделаться строкою невнятность сердца на исходе дня! Так, будучи до времени скалою, надгробный камень где-то ждет меня. ВЕСНА Деревья гор, я поздравляю вас: младенчество листвы - вот ваша прибыль, вас, девушки, затеявшие вальс, вас, волны, что угодны юным рыбам, вас, небеса, - вам весела гроза, тебя, гроза, - тобой полны овраги, и вас, леса, глядящие в глаза расплывчатым зрачком зеленой влаги. Я поздравляю с пчелами луга, я поздравляю пчел с избытком меда и эту землю с тем, что велика любви и слез беспечная погода. Как тяжек труд пристрастия к весне, и белый свет так бел, что видеть больно. Но заклинаю - не внемлите мне, когда скажу: "Я изнемог. Довольно".

Григол Абашадзе

ПАМЯТЬ

В час, когда осень щедра на дожди

и лихорадка осину колотит,

глянешь - а детство блестит позади

кроткой луною, упавшей в колодец.

Кажется - вовсе цела и ясна

жизнь, что была же когда-то моею.

Хрупкий узор дорогого лица

время сносило, как будто монету.

Мой - только памяти пристальный свет,

дар обладания тем, чего нет.

x x x

Я сам не знаю, что со мной творится:

другой красы душа не понимает,

и холм чужбины в зрении двоится,

и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым

средь звезд и лун, при ветреной погоде.

Есть похвала тому, что изумляет:

о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.

Смотрю, от обожания немею

и все, что в этом мире несравненно,

я сравниваю с Грузией моею.

ИЗ СТИХОВ ТУРМАНА ТОРЕЛИ

1. НА БОЙНЕ

Грянула буря. На празднестве боли

хаосом крови пролился уют.

Я, ослепленный, метался по бойне,

где убивают, пока не убьют.

В белой рубашке опрятного детства

шел я, теснимый золой и огнем,

не понимавший значенья злодейства

и навсегда провинившийся в нем.

Я не узнал огнедышащей влаги.

Верил: гроза, закусив удила,

с алым закатом схватилась в овраге.

Я - ни при чем, и одежда бела.

Кто убиенного слышал ребенка

крик поднебесный, - тот проклят иль мертв.

Больно ль, когда опьяневшая бойня

пьет свой багровый и приторный мед?

Я не поддался двуликому ветру.

Вот я - в рубахе, невинной, как снег.

Ну, а душа? Ее новому цвету

нет ни прощенья, ни имени нет.

Было, убило, прошло, миновало.

Сломаны - но расцвели дерева...

Что расплывается грязно и ало

в черной ночи моего существа?

2. ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТ

Глядит из бездны прежней жизни остов -

Потоки крови пестуют ладью.

Но ждет меня обетованный остров,

чьи суть и имя: я тебя люблю.

Лишь я - его властитель и географ,

знаток его лазури и тепла.

Там - я спасен. Там - я святой Георгий,

поправший змия. Я люблю тебя.

Среди растленья, гибели и блуда

смешна лишь мысль, что губы знали смех.

Но свет души, каким тебя люблю я,

в былую прелесть красит белый свет.

Ночь непроглядна, непомерна стужа.

Куда мне плыть - не ведомо рулю.

Но в темноте победно и насущно

встает сиянье: я тебя люблю.

Лишь этот луч хранит меня от бедствий,

и жизнь темна, да не вполне темна.

Меж обреченной плотью и меж бездной

есть дух живучий: я люблю тебя.

Так я плыву с ослепшими очами.

И я еще вдохну и пригублю

заветный остров, где уже в начале

грядущий день и я тебя люблю.

Иосиф Нонешвили

x x x

Вот я

смотрю

на косы твои грузные,

как падают,

как вьются тяжело...

О, если б ты была царицей Грузии, -

о, как бы тебе это подошло!

О, как бы подошло тебе приказывать!

Недаром твои помыслы чисты.

Ты говоришь -

и города прекрасного

в пустыне

намечаются

черты.

Вот ты выходишь в бархате лиловом,

печальная и бледная слегка,

и, умудренные твоим прощальным словом,

к победе

устремляются войска.

Хатгайский шелк пошел бы твоей коже,

о, как бы этот шелк тебе пошел,

чтоб в белой башне из слоновой кости

ступени целовали твой подол.

Ты молишься -

и скорбь молитвы этой

так недоступна нам и так светла,

и нежно посвящает Кашуэта

тебе одной свои колокола.

Орбелиани пред тобой,

как в храме,

молчит по мановению бровей.

Потупился седой Амилахвари

пред царственной надменностью твоей.

Старинная ты,

но не устарели

твои черты... Светло твое чело.

Тебе пошла бы нежность Руставели...

О, как тебе бы это подошло)

Как я прошу...

Тебе не до прощений,

не до прощений

и не до меня...

Ты отблеск славы вечной и прошедшей

и озаренье нынешнего дня!

Анна Каландадзе

МРАВАЛЖАМИЕР

Твоим вершинам,

белым и синим,

Дарьялу и Тереку,

рекам твоим,

твоим джигитам,

статным и сильным,

а также женщинам,

верным им, -

мравалжамиер, многие лета!

Твоим потокам,

седым потокам,

твоим насупленным ледникам,

предкам твоим

и твоим потомкам,

их песням,

танцам

и смуглым рукам -

мравалжамиер, многие лета!

Твоим героям,

делам их ратным,

их вечной памяти на земле,

твоим языкам и наречьям разным,

лету,

осени,

весне

и зиме -

мравалжамиер, многие лета!

Горам и ущельямнизу и долу,

каждому деревцу во дворе,олге твоей,

и Днепру,

и Дону,

Сыр-Дарье,

и Аму-Дарье-

мравалжамиер, многие лета!

Твоим строителям неутомимым,

реке,

и речке,

и каждой струе,

тебе, овеянной светом и миром,

тебе,

моей дорогой стране, -

мравалжамиер, многие лета!

x x x

Где же еще Грузия другая?

Гр.Орбелиани

Все, что видела и читала,

все -

твое,

о тебе,

с тобой.

В моем сердце

растет чинара,

ночью ставшая голубой.

И в минуту самую грустную

предо мною одна,

дорогая,

ты, прекрасная Грузия.

"Где же еще Грузия другая?"

О луга моей Карталинии,

олени с большими рогами

и такие хрупкие лилии,

что страшно потрогать руками.

Ты об этом помнить велишь мне.

Я смотрю на тебя,

не мешая,

край,

овеянный белым величьем...

"Где же еще Грузия другая?"

Травы синие

лягут на плечи.

С этих трав

я росинки сняла.

О мои виноградные плети!

О Тетнульда большие снега!

Зажигаются звезды со звоном,

искры белые

извергая.

Я слежу

за далеким их звоном:

"Где же еще Грузия другая?"

Пусть герои твои умирали -

слава их

разнеслась далеко.

Прямо к солнцу

взмывает Мерани,

и печально звучит

"Сулико".

Живы Алуда и Лела.

Устал Онисэ,

размышляя.

О родина песен и лета!

"Где же еще Грузия другая?"

С тихими долгими песнями

проходят

твои вечера.

Плачут

горийские персики,

когда наступает пора.

Они нависают с ветки.

Ветка густая,

большая.

Разве ты не одна на свете?

"Где же еще Грузия другая?"

x x x

Ты такое глубокое,

небо грузинское,

ты такое глубокое и голубое.

Никто из тех, кто тебе грозился,

приюта не обрел под тобою.

Ни турки, ни персы

и ни монголы

не отдохнули под тобой на траве,

не заслонили цветов магнолий,

нарисованных на твоей синеве.

Ошки,

и Зарзма,

и древний Тао

поют о величье твоем,

о небо!

Птицы в тебе летают

и теряются в тебе,

голубом...

x x x

Вот солнце

на носки привстало,

и город потянулся сонно.

Ему быть темным

не пристало.

Входило солнце

в город солнца.

И воздух был прозрачный,

ранний,

просвечивающий изнутри.

Стоял Тбилиси, как Ираклий,

у древней крепости Нари.

Такая ли была погода,

когда в Тифлис вступали персы

и не сдавались им подолгу

его воинственные песни?

В ЗЕДАЗЕНИ

Лето заканчивается поспешно,

лето заканчивается на дворе.

Поспела ежевика,

ежевика поспела

и боярышник на горе.

Листвою заметает овраги,

здесь эхо такое большое да ломкое.

А небо над ущельем Арагви

все такое же синее и далекое.

Хорошо иметь его,

хорошо иметь его

в сердце...

О, как стройна

дорога на Имеретию,

дорога на Имеретию

прямая, словно струна.

Как эти места чисты и добры,

как быстро здесь дни летят.

Над Зедазени шелестят дубы,

дубы шелестят...

В ШИОМГВИМЕ

Железный балкон,

уютный и ветхий.

О, люди редко бывают тут.

Зато миндаль

сюда наклоняется веткой,

и липы опадают,

когда отцветут.

Эти деревья намного старше,

намного старше,

чем я и ты.

Но неужели

этим деревьям не страшно

одиночество келий и темноты?

ВХОДИЛА В ГУРИЮ КАЛАНДА

Я помню изгородь под инеем.

Снег падал тихо и светло.

Кричит петух - и вспоминаю я

мое гурийское село.

Проламывалась наледь тонкая

под грузом шага моего,

и лаяла устало Толия,

сама не зная, на кого.

Похожий на большую букву,

один на вековом посту

дуб укрывался, словно в бурку,

в свою дырявую листву.

Глубокий снег следы марали,

тропинка далеко вела,

и возле вещего марани

был ветер пьяным от вина.

Все это - где-то и когда-то,

но позабыть о том нельзя...

Входила в Гурию каланда

и чичилаки нам несла.

ПО ДОРОГЕ В БЕТАНИЮ

Шиповник,

смородина,

и черника,

и боярышник иногда.

Дождь прошел...

И привольно и ко

по горам сбегает вода.

Мы идем...

Иолодные, ясные

дуют ветры.

Деревья дрожат.

На тропинке-

каштановые,

ясеневые

и дубовые

листья лежат.

Мы подходим к ущелью Самадло.

Снова дождь нас вводит в обман.

Я хочу быть с тобою.

Сама я -

словно горы и словно туман.

Шиповник,

смородина,

и черника,

и боярышник иногда.

Дождь прошел...

И привольно и дико

по горам сбегает вода.

x x x

Снег аджаро-гурийских гор,

моих гор родных.

О, какой там большой простор,

какой чистый родник!

Маленькая мельница на Губазоули

у ворот моего двора.

Там лавровишни давно уснули,

и роса их сладка и добра.

О родина,

уже, наверное, год

я не виделась с ней!

Снег аджаро-гурийских гор,

туман и снег...

x x x

Охотник сумрачно и дерзко

раскладывает западни.

Здесь ходит горная индейка -

ее подстерегут они.

О, по опасной той аллее

мы пробегаем много дней.

Как годовалые олени,

пугаемся своих теней.

О, будь, индейка, осторожна,

не проходи по той тропе.

Ты слышишь?

Горестно,

тревожно

твой милый

плачет о тебе.

ЗВЕЗДЫ

Апрельская тихая ночь теперь.

Те птицы и эти

свои голоса сверяют.

О звезды, -

невозможно терпеть,

как они сверкают,

как они сверкают!

Земле и небу

они воздают благодать

и, нарушая

темноту этой ночи,

сверкают,

сверкают -

издалека видать! -

мои звезды

и твои очи.

Теперь апрельская тихая ночь,

и глаза

к ней медленно привыкают.

О звезды -

мне это все невмочь, -

как они сверкают!

Как они сверкают!

x x x

Громче шелести,

осина,

громче, мать-земля, гуди.

Живы мы!

И зло и сильно

сердце прыгает в груди.

Лес!

У нас есть листья,

губы -

целоваться,

говорить.

О, гуди - пусть эти гуды

будут в воздухе бродить!

РАЗГОВОР С ЧИАМАРИЕЙ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О медлительная побелка

этих яблоневых лепестков!

Так здравствуй, победа,

победа,

победа во веки веков!

Выходи,

чиамария,

празднуй,

тонко крылышками трубя.

Мои руки совсем не опасны -

мои руки

ласкают тебя.

Возмужавшей земле обожженной

не управиться

с новой травой.

Где наш враг?

Он лежит,

пораженный

справедливой и меткой стрелой.

Чиамария,

как мы тужили,

как мы плакали,

горе терпя,

но смеется

герой Цицишвили,

защитивший меня и тебя.

Чиамария,

мир, а не горе!

И, вступая в привычки труда,

тут степенно пройдется Никора,

и воскреснет за ним борозда.

Как Никора доволен работой!

Как глаза его добро глядят!

Я стою среди луга рябого.

"Гу-гу-гу..."

Это вязы гудят...

Я СЛЕЧУ, СИРЕНЬ...

Небо синее,

нет у неба предела

здесь, близко,

и там, далеко.

Появилось облачко

и поредело.

Небу

тайну хранить нелегко.

Я прикрою веки,

прикрою веки,

чтобы мир едва голубел н серел.

Слечу я

на твои синие ветки,

на ои синие ветки

слечу, сирень!

Я буду пь твоим мелким цветочкам,

о, буду петь,

буду только петь-

твоим прожилкам,

крапинкам, точкам,

потому что не смогу утерпеть.

Я буду петь голосисто и тонко.

Как мне хочется петь, сирень!

Никому так не хочется!

Может быть, только

небу хочется так же синеть.

О облака!

Я догнать их надеюсь.

Я за ними следую

всегда и сейчас.

Но куда я денусь?

О, никуда не денусь,

сирень,

от твоих сиреневых глаз.

О, зачем мне скрывать эту тайну?

Навеки,

навсегда

одного хочу.

Я слечу на твои синие ветки,

на твои синие ветки слечу.

x x x

Когда прохожу

по долине росистой,

меня, как ребенка,

смешит роса.

Цветы

приоткрывают

ресницы,

к моим глазам

обращают глаза.

Я вижу

движение каждого пестика,

различаю границу

утра и дня.

Ветер,

подай мне цветок персика,

травой и листьями

осыпь меня!

Я,

эти цветы нашедшая,

хочу,

чтоб они из земли вылезали.

И как сумасшедшая -

о, сумасшедшая -

хохочет трава

с растрепанными волосами.

Деревья сняли

свои драгоценности

и левой пригоршней

меня забросали.

Вот драгоценности -

все они в целости.

Деревья,

вы понимаете сами.

Я тоже,

я тоже сошла с ума.

Всего мне мало,

и все мне мал(!

Хохочет,

хохочет -

не я сама! -

хохочет,

хохочет сердце мое!

И ты

на исходе этого дня

листьями и травою прогоркшее

осыпь меня,

да, осыпь меня,

но только правой пригоршней!

x x x

О бабочек взлеты и слеты!

Может быть, я ошибаюсь.

То слезы,

но добрые слезы.

Я плачу

и улыбаюсь.

Я выросла в поле,

где средь травинок

капли росы навешены.

Я веточка,

полная зеленых кровинок,

срезанная невеждами.

Я стану свирелью,

свирелью зеленой!

Нагряну к вам трелью,

трелью залетной!

Я -

этого воздуха обитательница,

не страшащаяся ничего.

Я -

плачущая обладательница

сердца твоего.

С горных пастбищ,

для любви навеяна,

медленно

я поднимаюсь кверху.

О земля,

если б ты мне не верила, -

я бы обратилась

к ветру:

О ветер,

докажем,

докажем скорей,

докажем каждому,

что я -

свирель.

Дохни -

и медленно и жалобно

польется песня

из зеленого желоба.

И прислушаются люди чутко,

и уловят

мое дыхание,

и поймут они

силу чувства,

обращенного в это звучание.

Я СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА...

Вот я стою - ни женщина, ни девочка,

и ветер меня гладит по плечам.

Я - маленькая, маленькая веточка.

Садовник, утоли мою печаль.

Садовник, заслони меня от ветра:

мои он разоряет лепестки.

Что сделаю я - маленькая ветка?

Ведь у меня ни слова, ни руки.

О, подойди, скажи: не солгала ты,

ты - маленькая веточка, прости.

А ветер - он буян и соглядатай,

и ты меня от ветра защити.

x x x

Как пелось мне и бежалось мне,

как хотелось

петь и бежать!

Недоверчивой и безжалостной

мне никогда не бывать.

Когда месяц встает

за крепостной стеной

Орбелиани,

там,

вдалеке,

я, как дудка, следую за тобой

и отражаюсь в реке.

Идешь ли ты за арбою,

или у родника

стоишь, -

я иду за тобою,

и походка моя легка.

Недоверчивой и безжалостной никогда

мне не бывать

с тобой.

Поверь,

когда засияет звезда

предрассветная

во мгле голубой, -

это ты мне свой посылаешь привет,

просишь помнить,

не забывать.

Недоверчивой и безжалостной- -

нет! -

мне никогда не бывать!

О МАГНОЛИЯ, КАК Я ХОЧУ

БЫТЬ С ТОБОЙ!

За листом твоим,

листом дорогим,

не угнаться -

он летит по воде и по суше.

Так и сердце его:

другим, другим,

другим его сердце послушно.

О моя магнолия,

лист твой поднят

ветром -

не видать тебе твоего листа.

Наверно, не помнит он меня,

наверно, не помнит,

конечно, не помнит он моего лица.

Девятиглазого солнца

и бушующих морей

мы несем любовь,

только ты и я.

Но почему он не помнит

об этой любви моей,

почему, магнолия,

он не помнит меня?

У тебя, быть может,

был такой же час,

и он снова вернется,

и все это развеется?..

Нет, чтобы южные ветры

навеки покинули нас,

мне что-то не верится,

что-то не верится.

Как он горд, магнолия,

как он горд.

Но с нами любовь

и цвет голубой

прекрасных морей,

прекрасных гор.

О магнолия, как я хочу быть с тобой!

МОЛИТВА ЗМЕИ

Как холодна змея,

красива,

когда черты ее видны.

Все крапинки ее курсива

так четко распределены.

Внимая древнему мотиву,

она касается земли

и погружается в молитву,

молитву страшную змеи.

Знать, душу грешную свою

с надеждой богу поверяет,

в молитве с нею порывает

и просит:

"Бог, прости змею!"

О, нету,

нету больше мочи! -

и к скалам приникает грудь,

и вдруг таинственная грусть

змеиные заслонит очи.

И будет шепот этот литься

с ее двойного языка,

пока вокруг сухие листья

толкают руки ветерка.

Сейчас пусти ее в пески,

не попрекни смертельным делом -

с глазами,

полными тоски,

и к солнцу обращенным телом.

Пусть отстоит

свою молитву

и чудно полосы свернет,

и сквозь просвирник и малину

всей кожей крапчатой сверкнет.

Пусть после этих странных таинств

она взовьется вдалеке,

чтоб отплясать свой страшный танец

как будто с бубнами в руке.

Так пусть отпляшет разудало,

своими кольцами звеня.

Быть может,

старый "узундара"

сегодня выберет змея...

ТАТАРКЕ ДЕВУШКЕ

Татарка девушка,

сыграй на желтом бубне,

здесь, возле рынка, где кричит баран.

Татарка девушка,

нарушим эти будни,

отпразднуем торжественно байрам.

О, сколько клиньев,

красных и сиреневых,

в себя включает

странный твой наряд.

Сплетенья маленьких монет серебряных

на шее твоей тоненькой горят!

Возьми свой бубен.

Пусть в него вселится

вся молодость твоя и удальство.

Пусть .и моя душа повеселится

Да празднике веселья твоего.

БУБНЫ

Когда я говорить устану,

когда наскучат мне слова,

когда я изменю уставу

веселости и торжества, -

выходят из подвалов бубны

тогда,

о, именно тогда,

все их движения так буйны

и песня их так молода.

Осенним солнцем залитые,

они на площади сидят,

и бьют в ладошки золотые

и весело вокруг глядят.

Что за ночь - по реке и по рощам!

Что за ночь окружает меня!

Ты кричишь: "Эй, паромщик, паромщик!"

Но вокруг ни души, ни огня.

Как далеки и Дзегви, и Мцхета,

и таинственный месяц в реке.

Он молчит, но так слышимо это.

Что он думает там, вдалеке?

x x x

Я тебя увенчаю короной,

я тебе жемчугов надарю.

Захочу я - и славой короткой,

громкой славой тебя наделю.

А когда ты затихнешь в восторге,

я сама засмеюсь, удивлюсь.

Для тебя я взошла на востоке,

для тебя я на запад склонюсь.

СКАЖИ МНЕ, ЧИАМАРИЯ...

Чиамария, чиамария,

отшумел этот дождик сполна.

Ты такая смешная и маленькая.

Чнамария, где ты спала?

Твои крылышки, верно, простыли,

когда капля тебя волокла.

Я кажусь тебе тенью в пустыне, -

так я рядом с тобой велика.

Чиамария, в чем твоя радость?

Эти крапинки кто намечал?

Чиамария, в чем наша разность?

Ведь и мне этот дождь не мешал.

x x x

Свирель поет печально,

стройно,

и птица напрягает мускулы.

О, как задумчиво и строго

акация

внимает музыке.

Взлетает птица

выше,

выше,

туда,

где солнце и цветенье,

а маленькая ветка вишни

хранит ее прикосновенье.

x x x

Он безмолвствует,

спит на крышах,

но вот он гудеть начинает,

и тогда

на зеленых крыльях

поднимаются

к солнцу

чинары.

Страх перед ними осиля,

плача от тяжкой печали,

взмывают мои осины,

шевеля

большими плечами.

x x x

Маленькой Виоле

Какие розовые щеки,

и в каждой светит по костру,

и глаз голубенькие щелки

еще не клонятся ко сну.

О девочка,

что "Деда-эна"

тебе расскажет о земле?

Как виноград лисица ела?

Как заяц белым стал к зиме?

С какою трогательной грустью

ты плачешь! Вздрагивают плечики.

Зачем лисице с белой грудью

попались .маленькие птенчики?!

О, радость первого незнания!

Ты выговорила едва

цветов красивые названия:

"а-и нар-ги-зи, а-и и-а".

Все в маленьком твоем рассудке

запечатлелось, но опять

ласкаешь пестрые рисунки.

Устала книжка,

хочет спать.

День к вечеру переломился.

Вот месяц вышел и горит,

а язычок не утомился.

Смеется он

и говорит.

Жизнь будет сложная и долгая.

О девочка,

запомни так:

страна твоя большая,

добрая,

она вся в реках и цветах.

А ты играешь с мамой в ладушки -

тебе ли думать о судьбе!

Ромашки,

маки

или ландыши -

что больше нравится тебе?

ЛАДО АСАТИАНИ

Вспомнят меня, как Цикаду, и наступят

на теплую могилу мою.

Л.Асатиани

Где-то поблизости

солнце и ветры

дадут акации

зацвести поскорей,

и осыплются эти белые ветки,

осыплются

над могилой твоей.

Я-то знаю,

что под этой елью

ты уснул,

положив свою голову в маки.

Взбудораженный любовью,

наполненный ею,

ты лежишь,

как лежат все поэты и маги.

А земля наполняется парусами

и цветами,

которые тебя так манили...

А Пиросмани?

О, Пиросмани

придет к твоей теплой могиле...

Ты умер, окончился,

но снова прокрался

в эту жизнь.

Велики твои радость и грусть.

О весна! Взгляни, сколь она прекрасна!

А цветы все падают и падают тебе на грудь.

x x x

Долгой жизни тебе,

о фиалка!

Твоим синим и милым глазам.

Чтобы ветром тебя не сразило!

Чтобы градом тебя не задело!

Чтоб тебя не ушибли ногой!

ОБЛАКА

Грозы и солнца перемирие,

и облака нут утрату

дождя -

над всем:

над пирамими,

над Хеттой,

Мидией,

Урарту.

И радуга -

грозы напарница-

встает,

и пенится Кура.

Куда теперь они направятся?

Куда? Не ведаю.

Куда?

x x x

О, пусть ласточки обрадуют нас вестью

о появлении первых роз.

Пусть мотылек

поцелуется с яблоневой ветвью

и та приоткроет

свой маленький рот.

О, снова март,

и снова это деленье

на голубое с зеленым

с примесью красок других.

Цветы начинаются на земле,

поднимаются на деревья,

и март

раскрывает

их.

x x x

Тень яблони

живет на красивом лугу.

Она дышит,

пугливо меняет рисунок.

Там же живет самшит,

влюбленный в луну,

одетый кольчугой росинок.

Цикады собираются оркестрами.

Их музыка

достойна удивленья,

и шепчутся с деревьями окрестными

около растущие деревья.

А к утру затихнет их шепот,

погаснет

и ветром задунется.

О, есть что-то,

безмерно заставляющее задуматься...

x x x

Перекликаются куропатки...

И, рассеивая аромат,

в том парке

и в этом парке

цветы танцуют и говорят.

Опьяняются ими долины

в пятнах света и темноты,

и опять,

опять неделимы

бабочки

и цветы.

Ветры землю проветривают,

начинаясь там,

у реки.

Пчелы волшебниц проведывают.

Сплетничают мотыльки.

Который год,

о, который год

повторяются эти порядки.

Сумерки спускаются с гор...

Исступленно перекликаются куропатки.

ТУТА

Чего,

чего же хочет тута?

Среди ветвей ее темно.

Она поскрипывает туго,

как будто просится в окно.

Она вдоль дома так и ходит,

след оставляет на траве.

Она меня погладить хочет

рукой своей- по голове.

О тута,

нужно в дом проникнуть

и в темноте его пропасть,

и всей корой ко мне приникнуть,

и всей листвой ко мне припасть.

x x x

Когда наступит ночь

и вычернит

все камни и цветы вокруг,

когда на небе месяц вычертит

свой точный

неразрывный круг

и склонятся ко сну.

все травы,

все люди,

все живые твари, -

луч месяца соединится

со снегом чистым, молодым,

то белым светом озарится,

то розовым,

то голубым.

Их поцелуй так тих,

отраден

и запахом цветов отравлен.

Лишь палочкою-выручалкой

там птица вдалеке стучит.

Кавкасиони величавый

все видит,

дышит

и молчит.

x x x

Что делает весна

с владениями роз?

Ей хочется

заботой их порадовать.

Шиповник

медленный свой замечает рост,

и начинают веточки подрагивать.

Как голосят

влюбленные пернатые

над каждою лужайкой и тропой!

А вот цветы, поникшие,

примятые,

перемешанные с травой.

Их, верно, парни девушкам дарили.

У тех же, видно,

помыслы свои:

они сбегают весело

в долины,

где новые цветы и соловьи.

x x x

О ты, чинара,

взмывшая высоко, -

страшны ли тебе ветер и гроза?

На фоне просветлевшего востока

ты открываешь медленно глаза.

Всей кожей на рассвете холодея,

ты распуши листву

и так замри,

безмолвная,

как Тао и Халдея,

соединеньем неба и земли.

Назначена

для страсти и восторга

бровей твоих

надменная краса...

О ты, чинара,

взмывшая высоко, -

страшны ли тебе ветер и гроза?!

Арчил Сулакаури

x x x

Опять нет снега у земли.

Снег недоступен " диковин.

Приемлю солнцепек зимы,

облокотись о подоконник.

Дымы из труб - как словеса,

чей важный смысл-абракадабра,

и голубые небеса

дивятся странности подарка.

Я даровал бы крышам снег,

будь я художник иль природа, -

иначе совершенства нет

в пейзаже с тенью дымохода.

Михаил Квливидзе

џ И ТЫ

О, уезжай! Играй, играй

в отъезд. Он нас не разлучает.

Ты - это я. И где же грань,

что нас с тобою различает?

Я сам разлуку затевал,

но в ней я ничего не понял.

Я никогда не забывал

тебя. И о тебе не помнил.

Мне кажется игрой смешной

мое с тобою расставанье.

Ты - это я. Меж мной и мной

не существует расстоянья.

О глупенькая! Рви цветы,

спи сладко иль вставай с постели.

Ты думаешь, что это ты

идешь проспектом Руставели?

А это - я. Мои глаза

ты опускаешь, поднимаешь,

моих знакомых голоса

ты слушаешь и понимаешь...

И лишь одно страшит меня

и угрожает непрестанно:

ты - это я. Ты - это я!

А если бы меня не стало?

ГАГРА

Меж деревьев и дач - тишина.

Подметание улиц. Поливка.

Море... поступь его тяжела.

Кипарис... его ветка поникла.

И вот тонкий, как будто игла,

Звук возник и предался огласке, -

Начинается в море игра

В смену темной и светлой окраски.

Домик около моря. О ты, -

Только ты, только я в этом доме.

И неведомой формы цветы

Ты приносишь и держишь в ладони.

И один только вид из окна -

Море, море вокруг - без предела!

Спали мы. И его глубина

Подступала и в окна глядела.

Мы бежали к нему по утрам,

И оно нас в себя принимало,

И текло по плечам, по рукам,

И легко холодком пронимало.

Нас вода окружала, вода, -

Литься ей и вовек не пролиться.

И тогда знали мы, и тогда,

Что недолго все это продлится.

Все смешается: море и ты,

Вся печаль твоя, тайна и прелесть,

И неведомой формы цветы,

И травы увядающей прелесть.

В каждом слове твоем - соловьи

Пели, крылышками трепетали.

Были губы твои солоны,

Твои волосы низко спадали...

Снова море. И снова бела

Кромка пены. И это извечно.

Ты была? В самом деле была?

Или нет? Это мне неизвестно.

ПАН

Старый дуб, словно прутик, сгибаю,

Достаю в синем небе орла.

Я один колоброжу, гуляю,

Гогочу, как лихая орда.

Я хозяин заброшенных хижин,

Что мелькают в лесу кое-где.

Осторожный и стройный, как хищник,

Жадно я припадаю к еде.

Мне повадно и в стужу и в ветер

Здесь бродить и ступать тяжело.

Этот лес - словно шкура медведя,

Так в нем густо, темно и тепло.

Я охотник. С тяжелою ношей

Прихожу и сажусь у огня.

Я смеюсь этой темною ночью,

Я один - и довольно с меня!

Сказки сказываю до рассвета

И пою. А кому - никому!

Я себе открываю все это,

Я-то все рассужу и пойму.

Я по бору хожу. Слава бору!

Город - там, где отроги темны,

Мне не видно его. Слава богу!

Даже ветер с другой стороны!

Только облако в небе. Да эхо.

Да рассвет предстоящего дня.

Лишь одно только облако это, -

Нет знакомых других у меня!

С длинным посохом, долгие годы,

Одинокий и вечный старик,

Я брожу. И как крепость свободы,

В чаще леса мой домик стоит!

ИЗ НЕПОСЛАННОГО ПИСЬМА

Как сверкают и брызгают капли!

По Москве мое тело бредет.

А душа моя - в Картли. О, в Картли,

Одинокая, клич издает.

Там, где персики,

персики,

персики,

Где сияет и пахнет земля,

Там, где держатся пчелы за пестики

Белоснежных цветов миндаля...

Я такой же, как в прежние годы,

Седина моя в счет не идет.

Но душа моя, вырвавшись в горы,

В Карталинии

клич

издает!

В ПОЕЗДЕ

Между нами - лишь день расстоянья.

Не прошло еще целого дня.

От тебя - до меня, до сиянья

Глаз твоих, провожавших меня.

А за окнами горы и горы.

Деловое движенье колес.

День. О господи! Годы и годы

Я твоих не касался волос!

Я соседа плечом задеваю.

"Эхе-хе!"-я себе говорю.

Разговор о тебе затеваю.

У окошка стою. И курю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Я говорю вам: научитесь ждать!

Еще не все! Всему дано продлиться!

Безмерных продолжений благодать

не зря вам обещает бред провидца:

возобновит движение рука,

затеявшая добрый жест привета,

и мысль, невнятно тлевшая века,

все ж вычислит простую суть предмета,

смех округлит улыбку слабых уст,

отчаянье взлелеет тень надежды,

и бесполезной выгоды искусств

возжаждет одичалый ум невежды...

Лишь истина окажется права,

в сердцах людей взойдет ее свеченье,

н обретут воскресшие слова

поступков драгоценное значенье.

31 ДЕКАБРЯ

Этот день - как зима, если осень причислить к зиме,

и продолжить весной, и прибавить холодное лето.

Этот день - словно год, происходит и длится во мне,

и конца ему нет. О, не слишком ли долго все это?

Год и день, равный году. Печальная прибыль седин.

Развеселый убыток вина, и надежд, и отваги.

Как не мил я себе. Я себе тяжело досадил.

Я не смог приручить одичалость пера и бумаги.

Год и день угасают. Уже не настолько я слеп,

чтоб узреть над собою удачи звезду молодую.

Но, быть может, в пространстве останется след,

или вдруг я уйду - словно слабую свечку задую.

Начинаются новости нового года и дня.

Мир дурачит умы, представляясь блистательно новым.

Новизною своей Новый год не отринет меня

от медлительной вечности меж немотою и словом.

СОБЛЮДАЮЩИЙ ТИШИНУ

...В этом мире, где осень, где розовы детские лица,

где слова суеты одинокой душе тяжелы,

кто-то есть...

Он следит, чтоб летели тишайшие листья,

и вершит во вселенной высокий обд тишины.

КОНЕЦ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Октрь. Зимы .и лета перепалка.

Как старый фолиант без переплета-

потрепанная ветром ветхость парка.

И вновь ко мне взывает перепелка

Зовет: - Приди, губитель мой родимый.

Боюсь я жить в моем пустынном поле.

Охотник милосердный и ретивый,

верши судьбу моей последней боли.

Но медлю я в ночи благословенной,

украшенной созвездьями и тишью.

И безнадежно длится во вселенной

любовь меж мной и этой странной птицей.

С ТЕХ ПОР

Сколько хлопьев с тех пор,

сколько капель,

сколько малых снежинок в снегу,

сколько крапинок вдавлено в камень,

что лежит на морском берегу,

сколько раз дождик лил по трубе,

сколько раз ветерок этот дунул,

сколько раз о тебе, о тебе,

сколько раз о тебе я подумал!

x x x

"О милая!"-так я хотел назвать

ту, что мила, но не была мне милой.

Я возжелал свободы легкокрылой,

снедал меня ее пустой азарт.

Но кто-то был - в дому, или в толпе,

или во мне... Он брал меня за ломоти прекращал моих движений легкость,

полевая помнить о тебе.

Он был мой враг, он врал: "Прекрасна та"-

Ты, стало быть. Ты не была прекрасна. Как мне уйти, я думал, как прокрасться туда, где нет тебя, где пустота? Как он любил, как он жалел твою извечную привычку быть любимой! Все кончено. Побег необходимый я никогда уже не сотворю. Но кто он был, твоим глазам, слезам столь преданный, поникший пред тобою? Я вычислял, и мудростью тупою вдруг вычислил, что это был я сам. ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ С ПРОСПЕКТА РУСТАВЕЛИ Ошибся тот, кто думал, что проспект есть улица. Он влажный брег стихии страстей и таинств. Туфельки сухие, чтоб вымокнуть, летят в его просвет. Уж вымокла Как тяжек труд ходьбы красавицам! Им стыдно или скушно ходить, как мы. Им ведомо искусство скольжения по острию судьбы. Простое слово чуждо их уму, и плутовства необъяснимый гений возводит в степень долгих песнопений два слова: "Неуже-ели? Почему-у?" Ах, неуже-ели это март настал? Но почему-у так жарко? Это странно! Красавицы средь стекол ресторана пьют кофе - он угоден их устам. Как опрометчив доблестный простак, что не хотел остаться в отдаленьи! Под взглядом их потусторонней лени он терпит унижение и страх. Так я шутил, так брезговал бедой, покуда на проспекте Руставели кончался день. Платаны розовели. Шел теплый дождь. Я был седым-седой. Я не умел своей душе помочь. Темнело небо - медленно и сильно... И жаль мне было, жаль невыносимо Есенина в ту мартовскую ночь. ДАЧНАЯ СЮИТА Старомодные тайны субботы соблюдают свой нежный сюжет. В этот сад, что исполнен свободы н томленья полночных существ, ты не выйдешь - с таинственным мужем, ты в столовой сидишь допоздна. Продлевают ваш медленный ужин две свечи, два бокала вина. И в окне золотого горенья все дыханье, все жесты твои внятны сердцу и скрыты от зренья, как алгетских садов соловьи. Когда бы я, не ведая стыда, просил прохожих оказать мне милость иль гения нелепая звезда во лбу моем причудливо светилась, - вовек не оглянулась бы толпа, снедаемая суетой слепою. Но я хотел поцеловать тебя и потому был окружен толпою. Пойдем же на вокзал! Там благодать, там не до нас, там торопливы речи. Лишь там тебя смогу я целовать - в честь нашей то ль разлуки, то ли встречи. СЕВЕРНАЯ БАЛЛАДА Только степи и снег. Торжество белизны совершенной. И безвестного путника вдруг оборвавшийся след. Как отважился он фамильярничать с бездной вселенной? В чем разгадка строки, ненадолго записанной в снег? Иероглиф судьбы, наделенный значением крика, - человеческий след, уводящий сознанье во тьму... И сияет пространство, как будто открытая книга, чья высокая мудрость Вовеки невнятна уму.

ОчКИ

Памяти Симона Чиковани

Вот кабинет, в котором больше нет

Хозяина, но есть его портрет.

И мне велит судьбы неотвратимость

Сквозь ретушь отчуждения, сквозь дым

Узнать в лице пресветлую родимость

И суть искусства, явленную им.

Замкнул в себе усопших книг тела

Аквариум из пыли и стекла...

Здесь длилась книг и разума беседа,

Любовь кружила головы в дому.

И это все, что кануло бесследна,

Поэзией приходится уму.

Меня пугают лишь его очки -

Еще живые, зрячие почти.

Их странный взгляд глубок и бесконечен,

Всей слепотой высматривая свет,

Они живут, как золотой кузнечик,

И ждут того, чего на свете нет.

x x x

В ночи непроходимой, беспросветной

являлась смерть больной душе моей

и говорила мне - За мною следуй!

И я молчал и следовал за ней.

Я шел за ней до рокового края.

В пустое совершенство глубины

вела стена, холодная, сырая, -

я осязал каменья той стены.

Подумал я - в живой тоске последней,

внушающей беспамятство уму:

неужто опыт мудрости посмертной

я испытаю раньше, чем умру?

Я видел тайну, и открытье это

мне и поныне холодит чело:

там не было ни темноты, ни света,

ни тишины, ни звука - ничего.

НОСТАЛЬГИЯ

"Беговая", "Отрадное"... Радость и бег

этих мест - не мои, не со мною.

Чужеземец, озябший, смотрю я на снег,

что затеян чужою зимою.

Электричества и снегопада труды.

Электричка. Поля и овраги.

Как хочу я лежать средь глубокой травы

там, где Йори и там, где Арагви.

Северяне, я брат ваш, повергнутый в грусть.

Я ослеп от бесцветья метели.

Белый цвет-это ласточек белая грудь.

Я хочу, чтобы птицы летели.

Я хочу... Как пуста за изгибом моста

темнота. Лишь кусты и вороны.

"Где ты был и зачем?" - мне готовит Москва

домочадцев пустые вопросы.

"Беговая", "Отрадное"... Кладбища дач.

Неуместных названий таблицы.

И душа, ослабев, совершает свой плач,

прекращающий мысль о Тбилиси.

x x x

Он ждал возникновенья своего

из чащ небытия, из мглы вселенной.

Затем он ждал - все ж этому вело

то юности, то зрелости степенной.

Печально ждал спасенья от любви,

затем спасенья от любви печальной.

Хвалы людей и власти над людьми

он ждал, словно удачи чрезвычайной.

Когда он умер, он узнал про смерть,

что только в ней есть завершенность жеста.

Так первый раз сумел он преуспеть

вполне и навсегда, до совершенства.

МАСШТАБЫ ЖИЗНИ

Как комната была велика!

Она была, как земля, широка

и глубока, как река.

Я тогда не знал потолка

выше ее потолка.

И все-таки быстро жизнь потекла,

пошвыряла меня, потолкла.

Я смеялся, купался и греб...

О детских печалей и радостей смесь:

каждое здание - как небоскреб,

каждая обида - как смерть!

Я играл, и любимой игрой

был мир - огромный, завидный:

мир меж Мтацминдой и Курой,

мир меж Курой и Мтацминдой...

Я помню: у девушки на плечах

загар лежал влажно и ровне,

и взгляд ее, выражавший печаль,

звал меня властно и робко.

Я помню: в реке большая вода,

маленькие следы у реки...

Как были годы длинны тогда,

как они сейчас коротки!

x x x

Когда я целую тебя,

ты на цыпочки привстаешь, -

ты едва до меня достаешь,

когда я целую тебя...

Как я мало еще совершил.

Я - как путник в далеком пути.

Словно до недоступных вершин,

до тебя мне идти и идти.

СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Я видел белый цвет земли,

где безымянный почерк следа

водил каракули средь снега

и начинал тетрадь зимы.

Кого-то так влекло с крыльца!

И снег - уже не лист бесцельный,

а рукопись строки бесценной,

не доведенной до конца.

x x x

Родное - я помню немало родных

и лиц, и предметов... Но сколько?

Родное - всего лишь холодный родник,

потрогаешь камень - и скользко,

и чисто,

и весело,

и глубоко.

Дышать там легко, а видать - далеко.

В подоле горы, в подоле горы

подольше гори, подольше гори...

А он говорит и на солнце горит,

и все это так не расскажется.

О сердце, немало ты примешь обид

и все же потом не раскаешься...

СТИХОТВОРЕНИЕ

С ПРОПУЩЕННОЙ СТРОКОЙ

Земля, он мертв. Себе его возьми.

Тебе одной принадлежит он ныне.

Как сеятели горестной весны,

хлопочут о цветах его родные.

Чем обернется мертвость мертвеца?

Цветком? Виденьем? Холодком по коже?

Живых людей усталые сердца

чего-то ждут от мертвых. Но чего же?

Какая связь меж теми, кто сейчас

лежит во тьме, насыщенной веками,

и теми, кто заплаканностью глаз

вникает в надпись на могильном камне?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что толку в наших помыслах умнейших?

Взывает к нам: - Не забывайте нас! -

бессмертное тщеславие умерших.

ПЕСНЯ

Я, как гора, угрюм. А ты горда,

как город, превзошедший города

красой и славой, светом и стеклом.

И вряд ли ты займешься пустяком

души моей. Сегодня, как всегда,

уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда

в душе моей, которая тверда.

в своей привычке узнавать в луне

твое лицо, ниспосланное мне.

Но что луне невзрачная звезда!

Уходят из Тбилиси поезда!

Уходит жизнь - ведаю куда.

Ты не умрешь. Ты будешь мода.

Вовеки оставайся весела.

Труд двух смертей возьму я на себя-

О, не грусти в час сумерек, когда

уходят из Тбилиси поезда.

x x x

Когда б я не любил тебя - угрюмым,

огромным бредом сердца и ума, -

я б ждал тебя, и предавался думам,

н созерцал деревья и дома.

Я бы с родней досужей препирался,

и притворялся пьяницей в пивной,

и алгебра ночного преферанса

клубилась бы и висла надо мной.

Я полюбил бы тихие обеды

в кругу семьи, у скромного стола,

и развлекался скудостью беседы

и вялым звоном трезвого стекла...

Но я любил тебя, и эту муку

я не умел претерпевать один.

О, сколько раз в мою с тобой разлуку

я бедствие чужой души вводил.

Я целовал красу лица чужого,

в нем цвел зрачок - печальный, голубой,

провидящий величие ожога,

в мой разум привнесенного тобой.

Так длилось это тяжкое, большое,

безбожное чудачество любви...

Так я любил. И на лицо чужое

родные теки горечи легли.

x x x

Я, человек, уехавший изрузии,

боготворящий свой родимый край,олена преклонив, просить берусь я:

дай, боже, мне уменья, силы дай-

такое написать стихотворенье,

чтобы оно, над скалами звеня,

спасло бы не от смерти -

от забвенья

на родине возлюбленной

меня!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты - маленькая ростом. Я - высок.

Ты - весела, но я зато - печален.

На цыпочки ты встанешь - и висок

с моими поравняется плечами.

Вот так мы и встречаем каждый день,

и разница сближает нас глубоко...

О ты, моя коротенькая тень!

Я тень твоя, но павшая далеко.

БЕГСТВО ОТ ТЕБЯ В МЦХЕТУ

О, как дожди в то лето лили!

А я бежал от нас двоих.

Я помню мертвенные лики

старух молящихся,

до них -

о, не было до них мне дела,

их вид меня не поражал.

Я помню лишь, как ты глядела,

как улыбалась... Я бежал!

И здесь, в старинной Мцхете вещей,

смеялся я, от солнца слеп,

но в этой клинописи вечной

твоей руки я видел след,

ты здесь играла, рисовала,

ты и тогда была умна

и камням этим раздавала

иероглифы и имена.

Гора лежала, словно буйвол, -

так тяжела и высока,

у ног ее, в движенье буйном,

текла и падала река.

И ворот неба был распахнут,

и синевою обжигал,

и луг был заново распахан...

А я - все от тебя бежал!

Зеленые, как у рыбачки,

глаза мне виделись твои, -

я словно в каменной рубашке

спасался от твоей любви.

Я помню плач и конский храп.

Как долго мной ты помыкала!

Я гордо превращался в храм,

но... это мне не помогало!

x x x

Домик около моря. О, ты -

толькты, только я в этом доме.

И невидимой рмы цветы

ты приносишь и держишь в ладони.

И один только вид из окна-

море, море вокруг без предела.

Спали мы. И его глубина

подступала и в окна глядела.

Мы бежали к нему по утрам,

и оно нас в себя принимало.

И текло по плечам, по рукам

и легко холодком пронимало.

Нас вода окружала, вода,

литься ей и вовек не пролиться.

И тогда знали мы и тогда,

что недолго все это продлится.

Все смешается: море, и ты,

вся печаль твоя, тайна, " прелесть,

и неведомой формы цветы,

н травы увядающей прелесть.

В каждом слове твоем соловьи

пели, крылышками трепетали..

Были губы твои солоны,

твои волосы низко спадали...

Снова море. И снова бела

кромка пены. И это извечно.

Ты была! В самом деле была

или нет! Это мне неизвестно.

НА СМЕРТЬ Э. ХЕМИНГУЭЯ

Охотник непреклонный!

Целясь,

ученого ты был точней.

Весь мир оплакал драгоценность

последней точности твоей.

ТИЙЮ

Чужой страны познал я речь,

и было в ней одно лишь слово,

одно - для проводов и встреч,

одно - для птиц и птицелова.

О Тийю! Этих двух слогов

достанет для "прощай" ;и "здравствуй",

в них - знак немилости, и зов,

п "не за что", и "благодарствуй"...

О Тийю! В слове том слегка

будто посвистывает что-то,

в нем явственны акцент стекла

разбитого

н птичья нота.

Чтоб "Тийю" молвить, по утрам

мы все протягивали губы.

Как в балагане - тарарам,

в том имени - звонки и трубы.

О слово "Тийю"! Им одним,

единственно знакомым словом,

прощался я с лицом твоим

и с берегом твоим сосновым.

Тийю! (Как голова седа!)

Тийю! (Не плачь, какая польза!)

Тийю! (Прощай!)

Тийю (Всегда!)

Как скоро все это... как поздно...

Тамаз Чиладзе

СОЛНЕЧНЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Вот паруса живая тень

зрачок прозревший осеняет,

и звон стоит, и зимний день

крахмалом праздничным сияет.

Проснуться, выйти на порог

и наблюдать, как в дни былые,

тот белый свет, где бел платок

и маляра белы белила,

где мальчик ходит у стены

и, рисовальщик неученый,

средь известковой белизны

выводит свой рисунок черный.

И сумма нежная штрихов

живет и головой качает,

смеется из-за пустяков

и девочку обозначает.

Так, в сердце мальчика проспав,

она вступает в пробужденье,

стоит, на цыпочки привстав,

вся жизненность и вся движенье.

Еще дитя, еще намек,

еще в походке ошибаясь,

приходит в мир, как в свой чертог,

погоде странной улыбаясь.

О Буратино, ты влюблен!

От невлюбленных нас отличен!

Нескладностью своей смешон

и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоем,

догадкой осенен мгновенной,

ты слышишь в ясном небе гром

любви и верности неверной?

Дано предчувствовать плечам,

как тяжела ты, тяжесть злая,

и предстоящая печаль

печальна, как печаль былая...

ПЕТЕРГОФ

Опять благословенный Петергоф

дождям своим повелевает литься

и бронзовых героев и богов

младенческие умывает лица.

Я здесь затем, чтоб не остаться там,

в позоре том, в его тоске и в Не.

Но здесь ли я? И сам я - как фонтаннет места мне ни на земле, ни в небе.

Ужель навек я пред тобой в долгу-

опять погибнуть и опять родиться,

чтоб описать смертельную дугу

и в золотые дребезги разбиться!

О Петергоф, свежи твои сады!

Еще рассвет, еще под сенью древа,

ликуя и не ведая беды,

на грудь Адамову лицо склоняет Ева.

Здесь жди чудес: из тьмы, из соловьев,

из зелени, из вымысла Петрова,

того гляди, проглянет Саваоф,

покажет лик и растворится снова.

Нет лишь тебя. И все же есть лишь ты.

Во всем твои порядки и туманы,

и парк являет лишь твои черты,

и лишь к тебе обращены фонтаны.

x x x

Да не услышишь ты,

да не сорвется

упрек мой опрометчивый,

когда

уродливое населит сиротство

глаза мои, как два пустых гнезда.

Все прочь лететь - о, птичий долг проклятый!

Та птица, что здесь некогда жила,

исполнила его, - так пусть прохладой

потешит заскучавшие крыла.

Но без тебя - что делать мне со мною?

Чем приукрасить эту пустоту?

Вперяю я, как зеркало ночное,

серебряные очи в темноту.

Любимых книг целебны переплеты,

здесь я хитрей, и я проникну к ним -

чтоб их найти пустыми. В переплеты

взвились с тобою души-этих книг.

Ну, что же, в милосердии обманном

на память мне де оброни пера.

Все кончено! Но с пятнышком туманным

стоит бокал - ты из него пила.

Все кончено! Но в скважине замочной

свеж след ключа. И много лет спустя

я буду слушать голос твой замолкший,

как раковину слушает дитя.

Прощай же! Я с злорадством затаенным

твой бледный лоб я вижу за стеклом,

и красит его красным и зеленым

навстречу пробегающим огнем.

И в высь колен твое несется платье,

и встречный ветер бьет, и в пустырях

твоя фигура, как фигура Плача,

сияет в ослепительных дверях.

Проводники флажками осеняют

твой поезд, как иные поезда,

и долог путь, и в вышине зияют

глаза мои, как два пустых гнезда.

x x x

Колокола звонят, и старомодной

печалью осеняют небеса,

и холодно, и в вышине холодной

двух жаворонков плачут голоса.

Но кто здесь был, кто одарил уликой

траву в саду, и полегла трава?

И маялся, и в нежности великой

оливковые трогал дерева?

Еще так рано в небе, и для пенья

певец еще не разомкнул уста,

а здесь уже из слез, из нетерпенья

возникла чьей-то песни чистота.

Но в этой тайне все светло и цельно,

в ней только этой речки берега,

и ты стоишь одна, и драгоценно

сияет твоя медная серьга.

Колокола звонят, и эти звуки .

всей тяжестью своею, наяву,

летят в твои протянутые руки,

как золотые желуди в траву.

Отар Чиладзе

СНЕГ

Как обычно, как прежде, встречали мы ночь,

и рассказывать было бы неинтересно,

что недобрых гостей отсылали мы прочь

остальным предлагали бокалы и кресла.

В эту ночь, что была нечиста и пуста,

он вошел с выраженьем любви и сиротства,

как приходят к другим, кто другим не чета,

и стыдятся вины своего превосходства.

Он нечаянно был так велик и робел,

что его белизну посчитают упреком

всем, кто волей судьбы не велик и не бел,

не научен тому, не обласкан уроком.

Он был - снег. И звучало у всех на устах

имя снега, что стало известно повсюду.

- Пой! - велели ему. Но он пел бы и так,

по естественной склонности к пенью и чуду.

Песня снега была высоко сложена

для прощенья земле, для ее утешенья,

и, отважная, длилась и пела струна,

и страшна была тонкость ее натяженья.

Голос снега печально витал над толпой.

- Пой! - кричали ему. - Утешай и советуй!

Я один закричал: - Ты устал и не пой!

Твое горло не выдержит музыки этой.

На рассвете все люди забыли певца,

занимаясь заботами плача и смеха.

Тень упала с небес и коснулась лица -

то летел самолет там, где не было снега.

x x x

В быт стола, состоящий из яств и гостей,

в круг стаканов и лиц, в их порядок насущный

я привел твою тень. И для тени твоей -

вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай.

Как бы все упростилось, когда бы не снег!

Белый снег увеличился. Белая птица

преуспела в полете. И этот успех

сам не прост и не даст ничему упроститься.

Нет, не сам по себе этот снег так велик!

Потому он от прочего снега отличен,

что студеным пробелом отсутствий твоих

его цвет был усилен и преувеличен.

Холод теплого снега я вытерпеть мог -

но в прохладу его, волей слабого жеста,

привнесен всех молчаний твоих холодок,

дабы стужа зимы обрела совершенство.

Этом снегом, как гневом твоим, не любим,

я сказал своей тени: - Довольно! Не надо!

Оглушен я молчаньем н смехом твоим

и лицом, что белее, чем лик снегопада.

Ты - во всем. Из всего - как тебя мне извлечь?

Запретить твоей тени всех сказок чрезмерность.

твое тело услышать, как внятную речь,

где прекрасен не вымысел, а достоверность?

Снег идет и не знает об этом. Летит

и об этом не ведает белая птица.

Этот день лицемерит и делает вид,

что один, без тебя он сумеет продлиться.

О, я помню! Я сам был огромен, как снег.

Снега не было. Были огромны и странны

возле зренья и слуха -твой свет и твой смех,

возле губ и ладоней - вино и стаканы.

Но не мне быть судьей твоих слов и затей!

Ты прекрасна. И тень твоя тоже прекрасна.

Да хранит моя тень твою слабую тень

там, превыше всего, в неуюте пространства.

x x x

Я попросил подать вина и пил.

Был холоден не в меру мой напиток.

В пустынном зале я делил мой пир

со сквозняком и запахом опилок.

Несмелый локоть горестной зимы

из тьмы, снаружи лег на подоконник.

Из сумрачных берлог, из мглы земли,

наверно, многих, но не знаю, скольких,

рев паровозов вышел и звучал.

Не ведаю, что делалось со мною,

но мне казалось - плач их означал

то, что моею было тишиною.

Входили люди, супа, папирос

себе просили, поступали просто

и упрощали разнобой сиротств

до одного и общего сиротства.

Они молчали, к помыслам своим

подняв многозначительные лица,

как будто что-то, ведомое им,

намеревалось грянуть и случиться.

Их тайна для меня была темна.

Я не спешил расспрашивать об этом.

Желанием моим или вина

было - увидеть снег перед рассветом.

Снег начинался около крыльца,

и двор был неестественно опрятен,

словно постель умершего жильца,

где новый штрих уже невероятен.

Свою печаль я укротил вином,

но в трезвых небесах неукрощенных

звучала встреча наших двух имен

предсмертным звоном двух клинков скрещенных.

ШЕЛ ДОЖДЬ...

Шел дождь-это чья-то простая душа

пеклась о платане, чернеющем сухо.

Я знал о дожде. Но чрезмерность дождя

была впечатленьем не тела, а слуха.

Не помнило тело про сырость одежд,

но слух оценил этой влаги избыток.

Как громко! Как звонко! Как долго! О, где ж

спасенье от капель, о землю разбитых!

Я видел: процессии горестный горб

влачится, и струи небесные льются,

и в сумерках скромных сверкающий гроб

взошел, как огромная черная люстра.

Быть может, затем малый шорох земной

казался мне грубым и острым предметом,

что тот, кто терпел его вместе со мной,

теперь не умел мне способствовать в этом.

Не знаю, кто был он, кого он любил,

но как же в награду за сходство, за странность,

что жил он, со мною дыханье делил,

не умер я - с ним разделить бездыханность!

И я не покаран был, а покорен

той малостью, что мимолетна на свете.

Есть в плаче над горем чужих похорон

слеза о родимости собственной смерти.

Бессмертья желала душа и лгала,

хитросплетенья дождя расплетала,

и капли, созревшие в колокола,

раскачивались и срывались с платана.

ПИЦУНДА

Эта зелень чрезмерна для яви.

Это - сон, разумеется,

сон о зеленом...

Ветру не терпится вялую дрему тумана

вывести, выволочь, вытолкнуть из сосняка,

и туман,

как и подобает большому сонному животному,

понуро следует за ветром,

и потому - все вокруг зеленое:

стена, лестница, балкон, скамья и книга -

та книга, которая всю ночь

впустую взывала к состраданию,

желая разгласить заключенную в ней боль

(словно старуха, ощутившая дыхание смерти,

столь же острое и важное,

как дыханье того, о, того,

кто когда-то впервые говорил ей о любви,

и вот теперь - к отупевшему лицу,

замкнутому, как клетка,

которой нечего держать взаперти,

изнутри подступила страсть).

Это - сон, разумеется,

длинный сон...

Шаги по сосновому полу ничем не вредят тишине.

Воздух, вобранный птичьей гортанью,

вскоре возвращается в виде зеленогсвиста,

то есть не слышно, а видно,

каклюв исторгает зеленую трель,

ибо туман забрал себе и присвоил все звуки-

в обмен на право прогуливаться среди ветвей в зеленых шлепанцах... Изваянная, как жеребенок, закинув голову, нюхает воздух маленькая девочка. БЕССОННИЦА Было темно. Я вгляделся: лишь это и было. Зримым отсутствием неба я счел бы незримость небес, если бы в них не разверзлась белесая щель, - вялое облако втиснулось в эту ловушку. Значит, светает... Весь черный и в черном, циркач вновь покидает арену для темных кулис. Белому в белом - иные готовы подмостки. Я ощущал в себе власть приневолить твой слух внять моей речи и этим твой сон озадачить, мысль обо мне привнести в бессознанье твое, - но предварительно намеревался покинуть эти тяжелые и одноцветные стены. Так я по улицам шел, не избрав направленья, и злодеянье свое совершал добродетельный свет, не почитавший останков погубленной ночи: вот они - там или сям, где лежат, где висят - разъединенной, растерзанной плотью дракона. Лужи у ног моих были багрового цвета. Утренней сырости белые мокрые руки терли лицо мое, мысли стирая со лба, и пустота заменила мне бремя рассудка. Освобожденный от помыслов и ощущений, я беспрепятственно вышел из призрачных стен огорода, памяти и моего существа. Небо вернулось, и в небо вернулась вершина - из темноты, из отлучки. При виде меня тысячу раз облака изменились в лице. Я был им ровня и вовсе от них не отличен. Пуст и свободен, я облаком шел к облакам, нет, как они, я был движим стороннею волей: нес мое чучело вдаль неизвестный носильщик. Я испугался бессмысленной этой ходьбы: нет ли в ней смысла ухода от бледных ночей, надобных мне для страстей, для надежд и страданий, для созерцанья луны, для терпенья и мук, свет возжигающих в тайных укрытьях души. Я обернулся на стены всего, что покинул. Там - меня не было. И в небеса посылала, в честь бесконечности, дым заводская труба. x x x Бог памяти, бог забыванья! Ожог вчерашнего пыланья залечен алчностью слепою. И та, чьего лица не помню, была ль, покуда не ушла? Но все надеется душа, зияя ящиком Пандоры, на повторенья и повторы. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ 3 вижу день и даже вижу взор, которым я недвижно и в упор гляжу на все, на что гляжу сейчас, что ныне - явь, а будет - память глаз, на все, что я хвалил и проклинал, пока любил и слезы проливал. Покуда августовская листва горит в огне сентябрьского костра, я отвергаю этот мед иль яд, для всех неотвратимый, говорят, и предвкушаю этот яд иль мед. А жизнь моя еще идет, идет... КОМНАТА Поступок неба - снегопад. Поступок женщины - рыданье. Капризов двух и двух услад вот совпаденье и свиданье. Снег, осыпаясь с дальних лун, похож на плач, и сходство это тревожит непроглядный ум и душу темную предмета. Слеза содеяна зрачком, но плач-занятье губ и тела. Земля и женщина ничком лежали, и метель летела. СОН Земля мерещится иль есть. Что с ней? Она бела от снега. Где ты? Все остальное есть. Вот ночь - для тьмы, фонарь - для света. Вот я - для твоего суда, безропотно, бесповоротно. Вот голос твой. Как он сюда явился, боже и природа? Луна, оставшись начеку, циклопов взор втесняет в щелку. Я в комнату ее влеку, и ты на ней покоишь щеку. БЕЛОЕ ПОЛЕ Я крепко спал при дереве в окне и знал, что тень его дрожащей ветви - и есть мой сон. Поверх тебя во сне смотрели мои сомкнутые веки. Я мучился без твоего лица! В нем ни одна черта не прояснилась. Не подлежала ты обзору сна и ты не снилась мне. Мне вот что снилось: на белом поле стояли кони. Покачиваясь, качали поле. И все раскачивалось в природе. Качанье знают точно такое шары, привязанные к неволе, а также водоросли на свободе. Свет иссякал. Сморкались небеса. Твой облик ускользал от очевидна. Попав в силки безвыходного сна, до разрыванья сердца пела птица. Шла женщина - не ты! - примяв траву ступнями, да, но почему твоими? И так она звалась, как наяву зовут одну тебя. О, твое имя! На лестнице неведомых чужбин, чей темный свод угрюм и непробуден, непоправимо одинок я был, то близорук, то вовсе слеп и скуден. На каменном полу души моей стояла ты - безгласна, безымянна, как тень во тьме иль камень меж камней. Моя душа тебя не узнала.

Мис Поцхишвили

ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ

Следи хоть день-деньской за шахматной доской-

все будет пешку жаль.

Что делать с бедной пешкой?

Она обречена.

Ее удел такой.

Пора занять уста молитвой иль усмешкой.

Меняет свой венец на непреклонный шлем

наш доблестный король, как долг и честь велели.

О, только пригубить текущий мимо шлейф -

и сладко умереть во славу королевы.

Устали игроки.

Все кончено. Ура!

И пешка, и король летят в одну коробку.

Для этого, ы, не надобно ума,

и тщетно брать туда шапку, и корону.

Претерпеваем рознь в честь славы и войны,

но в крайний час-

навек один другому равен.

Чей неусыпный глаз глядит со стороны?

И кто играет в нас, покуда мы играем?

Зачем испещрена квадратами доска?

Что под конец узнал солдатик деревянный?

Восходит к небесам великая тоска -

последний малый вздох фигурки безымянной.